

Елена Арсеньева



ТАЙНЫ ДВОРЯНСКИХ ФАМИЛИЙ



Нарышкины,
или Строптивая фрейлина

Елена Арсеньева

**Нарышкины, или
Строптивая фрейлина**

«Автор»

2013

Арсеньева Е. А.

Нарышкины, или Строптивная фрейлина / Е. А. Арсеньева —
«Автор», 2013

ISBN 978-5-699-65248-8

В старые времена, когда русские цари еще не ввели в моду жениться только на иноземных принцессах, Симеон Полоцкий предсказал юной Наталье Нарышкиной, что она станет любовью государя. Так оно вскоре и вышло – бедную, но красивую дворяночку взял в жены Алексей Михайлович. С тех пор род Нарышкиных был обласкан царским двором, девицы и дамы этой фамилии с удовольствием оказывались в фаворитках государей. И только прекрасная Зинаида Нарышкина противилась любви монарха – вопреки всем пророчествам! Почему – ответ в ее записках...

ISBN 978-5-699-65248-8

© Арсеньева Е. А., 2013

© Автор, 2013

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

34

Елена Арсеньева

Нарышкины, или Строптивая фрейлина

*Я все же не хотела бы покинуть этот свет, не испытав радостей
подлинной любви!*

О. де Бальзак «Тайна княгини де Кадиньян»

Кто это сказал – мужчина для женщины не цель, а средство? Никто не говорил? Ну что ж, значит, это открытие сделала я сама. Немалое же время мне понадобилось – целая жизнь! Впрочем, мой покойный муж, бедный Луи-Шарль...

Бедный!!! Как бы не так!

(Все зачеркнуто)

До чего мне надоело жить! Посмотрела сегодня на себя в зеркало: парик, румяна, а под румянами-то... Нет, это же не я, это карикатура на меня прежнюю! Не пора ли...

(Зачеркнуто)

Когда я перестраивала Кериоле, я была так им очарована, что мечтала умереть здесь, быть погребенной здесь... а дух мой, фантазировала я, пусть делается призраком этого восхитительного замка. Однако я тут же призадумалась: а ведь призраки сохраняют тот облик, в котором их застигла смерть. Мне ведь уже столько лет, что подумать страшно! И вот эта старая развалина, набеленная и нарумяненная, в рыжем парике, вдруг возникнет перед каким-нибудь из моих юных потомков...

(Зачеркнуто)

Множество мемуаров я перечитала, и все они начинаются необыкновенно скучно: с рассказа о достославных и достопамятных предках. Разумеется, поскольку закон мне отродясь не был писан, свои мемуары я желала бы начать иначе. Однако деваться некуда. Вся моя судьба – и не только моя, но и многих прочих девиц, урожденных Нарышкиных, была определена тем, что древний, однако никому особенно не ведомый и ничем особенно не примечательный, довольно-таки захудалый наш род возвысился и приобрел особенную значимость среди других мелкопоместных незначительных – и, прямо скажем, захудалых – родов лишь после того, как Наталья Кирилловна Нарышкина сделалась супругой русского государя Алексея Михайловича Тишайшего...

Велика честь, *entre nous soit dit!*¹

Вот повеселился бы милый мой, незабвенный Савва, самая большая тайна моей жизни (или, как выразился бы какой-нибудь англичанин, мой *скелет в шкафу*), прочитав сию строку! Вот порадовался и подивился бы моему внезапному фрондерству! А это не фрондерство, а всего лишь здоровый цинизм, который я приобрела с течением жизни.

В самом деле, что ж тут такого – взойти на ложе государя его супругой? Мне ли, которой император русский предлагал осквернить ложе сие, в то время как его супруга удостаивала меня своим расположением, мне ли, так и не ставшей фавориткой и обманувшей ожидания всех многочисленных Нарышкиных, которые слепо верили в некое старинное предсказание, передавая тайну его из поколения в поколение, – мне ли, говорю я, относиться к брачным обязательствам с трепетным почтением? К чужим и своим? Само собой разумеется, никакого

¹ Между нами будет сказано (фр.). – Здесь и далее прим. автора.

этого почтения я не испытываю, а потому не взыщи, читатель, коли суждения мои покажутся тебе колкими, а мои жизненные перипетии – чрезмерно скользкими. Я некогда была невинна и чистосердечна до глупости. Но те времена давно минули, и заверяю: прожив с мое, и ты приобретешь ту заветную толику цинизма, которая, подобно драгоценной пряности, придает особенный вкус жизни, этому изначально пресному блюду, от которого лениво косоротятся люди благонамеренные и которым безудержно наслаждаются их антиподы!

Впрочем, я, пожалуй, несправедлива к бедняжке Наталье Кирилловне, ибо она отличалась совсем даже не столь унылым нравом, как любая иная барышня приличного, пусть и замшелого рода, ее современница. Она оказалась способна рискнуть, однако способности эти вовсе не были переданы ей по наследству, а являлись благоприобретенными. То есть она отлично умела держать в руках вожжи своей судьбы – которая, сказать по правде, была лошадкой вполне бойкой...

В те достопамятные времена государи не женились на иностранках, как заведено теперь, а выбирали себе невесту среди множества здешних красавиц, ибо русскому царю подобало иметь русскую жену, одного с ним вероисповедания. Нынче над этим обычаем смеются. А я печалюсь над теми, кто смеется! Никто не знает, к чему это Россию приведет. Вон, говорят, английский королевский дом разнес по Европе болезнь Спящей Красавицы, гемофилию, как бы и наших не заразили! И ведь заразят, при таком-то отношении к выбору невест! Отеческое не следует огульно отвергать, и в старине есть чему поучиться!

Мне доводилось читать у Николая Михайловича Карамзина, в его «Истории государства Российского», будто съезжались ко двору государя до тысячи барышень, от самых родовитых до самых простых: в счет шли только красота и здоровье. Но какие вокруг этого плелись интриги! Ведь семья, девушка из которой становилась царицей, взлетала до небес, получала почти неограниченное могущество. Разве могло обойтись без интриг? Именно из-за них государь Алексей Михайлович выбирал себе невесту трижды.

В первый раз он предпочел многим красавицам дочку касимовского боярина Рафа Всеволожского Евфимию. По слухам, царь увидел ее впервые, когда охотился в Касимове и его ловчий сокол залетел во двор усадьбы Всеволожского. Встреча была мимолетная – но девица в душу государя запала, а потому, когда он узнал ее среди множества невест, уже ни о ком более не помышлял и видел в сем перст судьбы. Однако это не слишком-то понравилось его ближайшему боярину и доверенному человеку (бывшему «дядькой» в ту пору, когда Алексей Михайлович еще не вззошел на престол) Борису Морозову, который имел огромное влияние на царя и опасался соперничества Всеволожского, боярина многоумного и толкового. Кроме того, Борис Морозов хотел жениться. Ему, пятидесятилетнему, хорошо пожившему мужчине, мягко говоря старику, очень полюбилась младшая дочка князя Милославского Анна.

Разумеется, родители хотели бы выдать любимую дочку за кого-нибудь помоложе, пусть даже не за столь богатого и могущественного, как Морозов. Однако тот предложил им сделку, которая делала честь его расчетливости, хоть и не делала чести нравственности. За него отдадут Анну, а ее старшая сестра Марья происками Морозова станет царицей. Тут, конечно, глаза у Милославских разгорелись, и они ударили с Морозовым по рукам в этой тайной и бесчестной сделке. А руки у Морозова были заgreбушие: говорили, что у него была такая же жадность к золоту, как «обыкновенно жажда пить». Вот и Анну Милославскую надумал заgreсти.

А тем временем Всеволожские с почетом поехали в Москву и начали готовиться к царской свадьбе.

Перед самым венчанием волосы невестины причесали так, что девушка едва не плакала от боли, но спорить не смела, а в наряде свадебном и стоять сама не могла. Впрочем, и в наши времена невесту русского императора, даже и великую княжну, одевают и наряжают столь тяжеловесно, увешивают таким количеством драгоценных украшений, что ее непременно нужно под руки вести – сама не может двинуться под этим грузом. Конечно, наряжают ее

теперь не в русское платье, а в европейское, а все же невыносимая тяжесть! В чем же заключались происки Морозова? Да всего лишь в мучительной прическе, а главное, в том, что, выведя невесту пред царевы очи, прислужницы просто-напросто... отпустили ее. Изнуренная болью и волнением, непривычная носить пудовые, тесные наряды, в которых и дышать было невозможно, она не устояла на ногах и упала, чего только и ждал коварный Морозов. Он немедля затеял скандал: у невесты-де падучая, Всеволожские подсунули царю порченную девку!

Похоже, государь Алексей Михайлович в то время своей головы не имел. Головой его был Морозов, который постарался, чтобы всех Всеволожских немедля загнали в ссылку в Тюмень, а в скором времени государь выбрал себе в жены Марию Милославскую. Рассказывают, она была красавица, значит, и сестра ее меньшая наверняка красавица – и ради этой красоты боярин Борис Иванович Морозов столько жизней перекурочил. Единственное, что извиняет сего подлого и несправедного прислужника в моих глазах, это любовь. Любовь человека немолодого к юной красавице, с которой он пытался вернуть собственную давно отлетевшую юность. Ох как я его понимаю – в то же время понимаю и бессмысленность таких затей как для мужчин, так и для женщин!

...Конечно, я была редкостно глупа, когда надеялась, что Луи-Шарль излечит меня от моей незаживающей душевной раны. Помню, я, словно неутешная вдова – на могилку к супругу, накануне нашего обручения пошла в заветную комнатку в старом доме на Мойке, который отдала сыну, и осыпала иммортелями² неподвижный остов, накрытый кисеей... На могилку к князю Борису Николаевичу, супругу, с которым жизнь прожила, я и не помыслила пойти проститься! А к памяти о Савве обратилась, обращаюсь и буду обращаться всегда. Я теперь во Франции, я теперь так далеко от заветного склепа, где под покровом тьмы похоронила свою тайную страсть, но все бы отдала сейчас, чтобы вернуться, чтобы открыть замурованную по моему приказу дверь и вдохнуть напоенный сухим, неживым ароматом иммортелей воздух...

Какой идиот придумал называть бессмертниками сухие, мертвые цветы?

Это все равно что назвать живой и веселой мумию!

Хотя о чем это я?.. О Савве, всегда о Савве! Но ведь начала рассказывать о Морозове и его бесчестной женитьбе на Анне Милославской!

Кто его знает, Морозова, может быть, у него все сложилось с Анной Милославской к общему удовольствию, даром что страдал он водянкой и подагрой, вот только детей они не нажили, все умирали во младенчестве, так что род этот в конце концов пресекся и несметные богатства отошли к Феодосье Морозовой, лютой поборнице старообрядческого толка.

Так вот о сестрах Милославских... Несмотря на красоту, здоровьем они обе оказались слабы, дети рождались хилыми и умирали рано не только у Анны, но и у Марии, оттого и у государя Алексея Михайловича из тринадцати детей большая часть померли, а из выживших дочери были здоровыми и крепкими, а сыновья – хилыми и болезненными. Может, над ними тоже маячило некое проклятье, как в свое время маячило надо мной?.. Ну и дураки были, коли ему верили, я так вот не верила ни минуточки, а что всякие глупые слова на сей счет мне приписывают, так оно пускай останется на совести тех, кто приписывает!

Об этом я после расскажу, а то никак не доберусь до своей знатной родственницы, Натальи Кирилловны.

Пока государь Алексей Михайлович проводил дни свои в тоске, хороня одного за другим детей и втихомолку бесясь (жена, Марья Милославская, по слухам, была хоть и послушна, да

² Immortelle – бессмертник (фр.).

глупа и слезлива), в деревеньке Киркино Рязанской губернии у стрелецкого сотника Кирилы Нарышкина подрастала дочь Наталья. Семья была бедная, не сказать – нищая. Не больно-то разживешься на десяти рублях годового жалованья! Детей много, а хапужничать на своей должности Кирила Полуэктович не был приучен. Перебивались с хлеба если не на воду, то на квас, – и тут вдруг возьми да навести Кирилу Нарышкина его старинный приятель, бывший стрелецкий полковник, а ныне боярин Артамон Матвеев, выдвинувшийся в ближние люди царя. Младшая дочка Кирилы Полуэктова, хорошенькая, но вовсе заброшенная, ему полюбилась: у него самого рос единственный сын, а хотелось дочку. Вот и забрал ее в воспитанницы, а Кирила Полуэктович был только рад сбыть с рук заведомую бесприданницу.

Вот бы знал, куда отправил роженое дитяtko, на какую тропку выпустил! И не только ее, а всех девиц Нарышкиных! Да нет, он о таком и помыслить не мог...

Артамон Матвеев был человеком необыкновенным во многих смыслах. Не мое дело описывать здесь его государственные деяния, да я и не слишком сильна в истории – знаю лишь, что женился он не на какой-нибудь тишайшей боярышне, а на иноземке Марии Гамильтон, дочери шотландского дворянина, который хоть и давно покинул родину и прижился в России, однако соблюдал европейские обычаи, к ним и дочку приучил. Эти обычаи чрезвычайно нравились Матвееву: нравилось, что жена появляется, нарядно, затейливо одетая, среди мужчин-гостей, ведет с ними разговоры не чинясь, что не переняла обычая русских красавиц безобразить себе лицо белилами, румянами и сурьмой до неузнаваемости, что учит сына иностранным языкам, много читает и поддерживает затею супруга – устроить домашний театр. В таком же духе шло у Матвеева воспитание и приемной дочери – черноглазой Натальи Нарышкиной, которая оказалась и умна, и послушна, и в меру весела, однако нравом настолько пылка, игрива и беспечна, что Матвеев вскоре понял: надо девицу поскорей выдать замуж или хоть в монастырь отправить, пока не случилось греха.

И вот как-то раз пригласил он к себе епископа Полоцкого, воспитателя царевича Федора и учителя подъячих Приказа тайных дел. При нем был один из этих подъячих, молодой красавец по имени Сильвестр Медведев. Пригласил их Матвеев для того, чтобы поговорить о сочинении Полоцкого «Вертоград многоцветный», написанном им для царевича и восхищавшем Медведева могучим штилем стихослогательным:

Мир сей преукрашенный – книга есть велика,
кою словом написал всяческих владыка.
Пять листов препространных в ней ся обретают
и чудные письма в себе заключают.
Первый лист есть небо, на нем же – светила,
их, словно письма, Божия крепость положила.
Второй лист – огонь стихийный под небом высоко,
в нем сего писания силу да зрит око.
Третий лист – преширокий аер³
мощный звати,
на нем дождь, снег, облаки и птицы читати.
Четвертый лист – сонм водный в ней ся обретает,
в том животных множество обитает.
Последний лист есть земля с дрeвесы, с травами,
с птицами и с животными, словно с письмами...

³ То есть воздух.

Но разговор мудреный вскоре сбился с накатанной дороги, оттого что явилась в горницу Наталья и принесла на подносе кубки с вином – для угощения гостей. Оба они – и смиренный монах-базилианин Полоцкий, и алчущий смирения молодой подьячий Медведев – устали на девицу столь скоромно и столь жадно, что Матвееву неловко сделалось. Озирали ее с ног до головы, словно в срамной дом пришли и себе по вкусу девку присматривали! Другая на месте Натальи со стыда сторела бы, однако она, как ни в чем не бывало, поклонилась Полоцкому приветливо, попотчевала его с уважением и лаской, ну а на Сильвестра Медведева, человека молодого, и глаз не подняла, как и положено честной девице.

Наконец она ушла, однако обсуждение «Вертограда многоцветного» более не возобновлялось. Матвеев видел, что гости его весьма озадачены, и спросил впрямую, что с ними.

– Судьбу увидали, – ответил с тонкой усмешкой Полоцкий, – и судьба-то непростая у девицы сложится!

Матвеев насторожился. Умение заглянуть в будущее во все времена влекло людей, и еще со времен Иоанна Грозного те предсказания, что были сделаны ему доктором Бомелиусом, его архиятером, то есть лейб-медиком и личным звездочетом, астрологом, волновали умы людей знающих – волновали своей правдивостью, тем, что сбылись с точностью. А что Полоцкий, что молодой ученик его были людьми непростыми...

Матвеев пытался спрашивать, однако ученые гости отмалчивались, и лишь когда собрались уходить, Полоцкий наконец сказал, что видит он в Наталье *любовь государя*.

– Любовь государя? – недоверчиво переспросил Матвеев.

Полоцкий наклонил голову в знак согласия, а Сильвестр Медведев что-то прошептал, будто отозвался невнятным эхом:

– ...бовь... сударя...

Тогда Артамон Матвеев повалился многоумным гостям в ноги и принялся молить не выносить сего предсказания из дому, ибо ему совсем не хотелось пойти по стопам боярина Всеволожского. Милославские, чья дочь сидела на троне рядом с этим самым государем, были в большой силе, ссориться с ними – для живота опасно! Впрочем, и Полоцкому с Медведевым собственные головы еще не надоели, а потому они и сами помалкивали.

Минуло какое-то время, и государь овдовел. Однако не век в жалевом, как в старину говорили, платье ходить, не век траур носить: театр Матвеева начал давать представления, на одно из которых снизошел явиться сам государь всея Руси, царь Алексей Михайлович, который во время одного такого посещения увидал Наталью Нарышкину, полюбил ее – и начал помышлять о новом браке.

Дальнейшее известно всем: в угоду обычаям состоялись новые выборы невесты, однако предпочтение царя было единственным – Наталья Нарышкина с ее прекрасными черными глазами, которые сулили царю то, чего он еще не испытывал: радость разделенной плотской любви.

Глаза Натальины его не обманули, и скучная, заплесневелая жизнь в царском дворце, где запрещено было и шутки шутить, и песни петь, и даже смеяться, пошла совсем по-иному. Старшие дети государя, от Милославской, молоденькую мачеху ненавидели и старались всяко охаять ее перед отцом, однако он ничего не мог поделать со своим сердцем и своей плотью. Прежняя-то жена не восходила на супружеское ложе иначе, как отбив полсотни земных поклонов, замаливая перед Богом предстоящее телесное совокупление, а эта, молоденькая, пылкая, была вовсе не сосудом греха, как уверяли святые отцы, не зеницею дьявола, не засадой спасению, не змеей и мирским мятежом – а счастьем.

Впрочем, дети царя все же честили ее поборницей греха, и еще больше шепотков поползло по тесным кремлевским закоулкам да задворкам, когда Наталья Кирилловна родила сына Петра – будущего государя...

Симеон Полоцкий, воспитатель царевича, напророчил ему славное и грозное грядущее, и ему верили, ибо теперь и он сам, и Матвеев уже не скрывали, что Полоцкий некогда разглядел и точно предрек будущее Натальи Нарышкиной, поистине ставшей *любовью государя*.

Однако случилось так, что пути учителя и его бывшего ученика разошлись. Сильвестр Медведев был тоже приближен к царскому двору за превеликую свою ученость, однако куда теснее его приблизила к себе царица Софья, старшая дочь Алексея Михайловича от Марии Милославской. Что тут скажешь, клобук не делает монаха... Отдав свою любовь царице, Сильвестр стал открытым противником ее мачехи, и именно с его легкой руки пополз слухок, будто он сразу в царице разглядел не *любовь государя*, а *любовь сударя*, то есть каждого-всякого мужчины. Выходило, что царица блудлива, – и эту весть радостно подхватили Софьины приспешники...

У нас в России нет таких историографических трудов, какие имеются, например, во Франции и какие касаются интимной жизни государей, особенно государей давно минувших веков. Великий Карамзин и не менее великий Пушкин обращаются лишь к преобразованиям Петра, к личности государственного деятеля. Я, конечно, сама не читала, но слышала – кстати, от самого Пушкина! – будто труды некоего Голикова «Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам», которые изданы почти сто лет назад⁴, грешат тем же возвеличиванием одной только императорской личности. Нет странного в том, что о Наталье Кирилловне невозможно найти ничего, кроме общих слов. Мать Цезаря, как и жена его, должна быть выше подозрений, но именно это затанное молчание и заставляет подумать, что было о чем говорить и, вполне возможно, правы оказались и Сильвестр Медведев, и прочие приспешники царицы Софьи, чернившие Наталью Кирилловну. Софья изо всех сил пыталась подточить веру народа в то, что Петр – истинный по крови наследник русского царского дома Романовых.

Кого только не называли в числе любовников несчастной Натальи Кирилловны, которая слишком рано осталась вдовой! Муж разбудил в ней женщину, но не удовлетворил плотского голода – удивительно ли, что она пыталась насытиться, когда ложе ее опустело? Я, например, ее хорошо понимаю... Ох уж эти мужья, которые думают только о своем удовольствии, нимало не заботясь об ощущениях женщины! Сколько нас, несчастных, проживает жизнь в убеждении, что в браке восторги возможны только для мужчин, а наше дело – детей рожать и мужу служить. И даже многие из тех, кто идет путем беззастенчивого светского кокетства и славится своим модным бесстыдством, – даже и они коллекционируют лишь сами похождения, самих поклонников или любовников, а не то наслаждение, которое может даровать мужская любовь. Я-то знаю, о чем говорю...

Так вот о Наталье Кирилловне. На самом деле понятно, почему о ее вдовстве так упорно молчат историки, и даже Пушкин, которого государь Николай Павлович лично допустил к государственным архивам времен Петра Великого, обмолвился о скоромных тайнах лишь раз... Собственно, даже не при мне. Мы, хоть и были с ним в отношениях дружественных... Впрочем, он со всеми хорошенькими фрейлинами императрицы был в отношениях дружественных, с иными даже в более чем, но если при встрече со мной его глаза и загорались и сыпали искры, тягаться со своим венценосным соперником ради меня он не желал. Довольно было, что он жену к государю ревновал до безумия, чтобы еще и с возможной любовницей идти той же проторенной тропой. Оттого частенько при встречах со мной делал страдальческое лицо, закусывал губу и бормотал с преувеличенным отчаянием: «Не про меня, ах, не про меня!» Как-то однажды это услышала ехиднейшая и умнейшая сплетница Сашенька Россет, моя коллежанка по фрейлинской службе у государыни Александры Федоровны (правда, Россет была свитная

⁴ Зинаида Ивановна, урожденная Нарышкина, бывшая княгиня Юсупова, графиня де Шово, маркиза де Серр, писала свои мемуары в начале 90-х годов XIX века.

фрейлина, а я – фрейлина высочайшего двора). Она страшно хохотала и посулила написать когда-нибудь записки, в которых изобразит всех своих современников непременно под каким-нибудь именем: скажем, Пушкин будет зваться *Искрой*, ну а я буду именоваться *Непроменя* – да, вот так, в одно слово. А Пушкин сказал, что, коли он Искра, то пускай я буду зваться *Искристой*. Сашенька Россет ревниво поджала губы, но возражать не стала. Уж не знаю, исполнила ли она свое обещание, давно ничего ни о ней, ни о ком из бывших моих русских друзей не слышала, – *знать, ее и в живых уж нет*, как выразился некогда Пушкин, которого уже тоже давно нет в живых, остались только его чудесные стихи... Но это прозвище – Искристая – недавно воскресло в романе некоего господина В., о котором сообщили мне из России... В письме уверяли, будто героиня – одно лицо со мной, и история ее некоторыми эпизодами напоминает наш роман с Николаем Жерве, и зовут ее – Зинаида, и фамилия – *Искрицкая!*⁵

Не знаю, не читала. И глаза уже не те, но лорнетки из моды ушли, а очки я ненавижу, и особенной охоты нет даже в руки брать все это новомодное: после Пушкина и Тютчева по-русски, а по-французски после Бальзака и Дюма-отца ни словечка толкового не написали!

Так я о чем? Заболталась и забылась... Ах да, вот, вспомнила! Я о том, что даже Пушкин лишь раз проговорился об интимных тайнах моей родственницы Нарышкиной – и то не мне лично, а Россет, а она уже втихомолку разболтала: дескать, даже сам царь Петр не верил, что он мог родиться от хилого, рыхлого, мягкого и спокойного Алексея Михайловича, не зря носившего в истории прозвище Тишайший. Однажды Петр чуть не придушил Тихона Стрешнева, одного из тех придворных, кого молва числила в любовниках Натальи Кирилловны, требуя признаться, не Тихон ли его отец, а тот лишь пробормотал, еле живой: мол, он был у царицы не один. Судачили и о Мусине-Пушкине, которого затем сослали воеводой в Пустозерск или еще какую-то подобную Тмутаракань, даже о брате царицы, Федоре Нарышкине (но это уж вовсе пакостная сплетня, я так полагаю!), а больше всего – о том самом Симеоне Полоцком, государевом астрологе и воспитателе царевича.

Якобы Петр был его живой портрет не только внешне, но и нравом.

Конечно, Пушкин в эти досужие рассуждения особо не вдавался: еще, по слухам, государь Александр Павлович терялся в догадках, кто мог быть его дедом, отцом императора Павла Петровича... Государыня Екатерина Алексеевна весьма любила разнообразие! То ли сам Петр Федорович, ненавистный ее супруг? То ли ее любовник из дальних времен Сергей Салтыков? То ли случайный амант, какой-нибудь там осанистый гвардеец, чьего имени даже история не сохранила, а может, и сама императрица его не знала? А то и чухонские корни... Помню, дорогая моя приятельница по Парижу Дарья Христофоровна Ливен (злыдня, признаюсь, порядочная, но что поделывать, если такова наша женская натура?! Ни об одной женщине я не найду слова доброго сказать, и я вот тоже не ангел, хоть и умею притворяться оным порядочно... И если пишу столь нелюбезно, так ведь мое последнее желание, чтобы записки эти были сожжены после моей смерти и чтобы никто их не читал... Бог даст, сама успею, а нет – душеприказчики позаботятся), – так вот, княгиня Ливен с помощью этих сомнительных корней отбила у Виктории Английской страстное желание выйти замуж за наследника русского престола... Она мне сама рассказывала, Дарья Христофоровна! Так что, если начать выворачивать наизнанку эти старинные кружева, неизвестно, чьи кальсоны отыщешь под престолом, какого отца или деда-прадеда наших государей обретешь, но одно бесспорно: родила Петра Первого Наталья Кирилловна, а она – какая-никакая! – Нарышкина. То есть отец мой законно гордился этим родством, хоть происходил из самой младшей ветви.

Собственно, с тех пор Нарышкины рождаются, как говорят англичане, с серебряной ложкой во рту: им обеспечены чины, должности, возможности приумножить свое богатство... Куда ни кинь, как ни взглянь, а мы в родстве с царствующим домом и династией. Я стала фрейли-

⁵ Зинаида Ивановна намекает на роман П.А. Валуева «Лорин» (СПб, 1882).

ной высочайшего двора ее императорского величества в пятнадцать лет просто потому, что – Нарышкина, а те, кто приписывает это назначение моему замужеству, лгут. И с тех пор как состоялось это мое назначение, с меня не сводят выжидательных и нетерпеливых глаз дорогие родственники, и я понимаю, чего они от меня ждут...

Сейчас расскажу.

В нашем роду как великая тайна (ну а как же, во всяком уважающем себя роду непременно должна быть семейная тайна, уходящая в глубь веков!) сохраняется легенда о том, как вышеупомянутый Сильвестр Медведев, проведенный чуть не год в тюремном заточении, перенесший многие пытки и казненный затем на плахе, якобы каялся перед каким-то стрельцом из числа деливших с ним камеру, что царицу Наталью Кирилловну оговорил в угоду Софье, а на самом деле при первой же встрече с ней привиделось ему следующее: в будущем, дескать, одна из девиц Нарышкиных, так же как Наталья Кирилловна, будет любима не только сударями, то есть обычными мужчинами, но и государем – и станет если не женой его, то сделается ему дороже жены.

С тех пор все многочисленные Нарышкины в глубине души лелеяли надежду на новое возвеличение их рода. Ну, рядом с Петром Великим делать уже было нечего, однако известно, что четверо Нарышкиных (один из них носил прозвище Сатана, надо быть, не зря!) пытались притереться к царевичу Алексею Петровичу, надеясь сделаться к нему еще ближе с помощью своих сестер, однако вовремя, будто крысы, сбежали с этого тонущего корабля. Юную внучку этого Сатаны Нарышкина одно время прочили в невесты столь же юному государю Петру Второму, для чего пристроили ее во фрейлины к его любимой сестре Наталье. Однако Наталья скоропостижно скончалась, а бороться с протекцией Меншикова, а затем Долгорукова, изо всех сил подсовывавших Петру Второму своих прекрасных и несчастных дочерей, Марию и Екатерину, сил у Нарышкина не было. Так и пришлось девице Нарышкиной прозябнуть в монастыре до самой смерти.

Затем, как известно, в России настало царство женщин, при которых красавицам надеяться было совершенно не на что. Напротив, красавицам жестоко доставалось от императриц, ревнующих к их красоте, а потому девицы Нарышкины держались поодаль от престола. И только когда зазвучало имя великого князя Петра Федоровича, ставшего наследником при Елизавете Петровне, Нарышкины вновь подтянулись ко двору. Однако две девицы, Евдокия и Мария, хоть и пробились во фрейлины к вновь прибывшей невесте будущего государя, принцессе Фике, Софье-Августе-Фредерике Ангальт-Цербстской, вскоре перекрещенной в Екатерину Алексеевну, взоров наследника не привлекли и вскоре были выданы замуж за людей хороших фамилий – но отнюдь не государей. Гораздо больший успех около престола имел мой троюродный (или все же четвероюродный?.. В наших родственных связях запутаешься, но известно совершенно точно, что он был двоюродным племянником самого Петра Великого!) дед Лев Александрович Нарышкин. Он отличился при Екатерине Алексеевне не столько скучной государственной доблестью, сколько безудержным весельем, немало скрасившим ее существование, пока она еще великой княгиней жила при императорском дворе Елизаветы Петровны и ежеминутно боялась за свое будущее.

Случай их знакомства частенько пересказывается среди Нарышкиных и читится как особенная реликвия.

Когда маленькая Фике впервые оказалась в России, ее, по поручению императрицы Елизаветы Петровны, встречал молодой князь Нарышкин, камергер двора. С первой минуты он поразил принцессу своим весельем и дружелюбием. Она никогда прежде не садилась в русские сани и разглядывала их как великую диковинку.

Очень длинные, обитые красным сукном с серебряными галунами, сани были устланы мехом, перинами и шелковыми подушками, а сверху – еще и атласными одеялами. В этих

санях, нарочно предназначенных для долгого зимнего пути, нужно было не сидеть, а лежать, и Фике не могла сообразить, как же в них измудриться забраться.

– Надо закинуть ногу! – ретиво пояснял Нарышкин, сопровождая свои слова усердными жестами. – Закидывайте же!

Фике помирала со смеху над его забавными телодвижениями и собственной неловкостью и долго еще хихикала украдкой, когда сани уже понеслись.

С тех пор она всегда встречала Льва Александровича с удовольствием, а встречаться им приходилось часто. Нарышкин был в свите великого князя Петра Федоровича и с удовольствием разделял все его забавы, которые многие находили странными и неприятными. Нет охоты их описывать (меня они в брезгливое содрогание приводят!) или обсуждать, приведу лишь одну цитату из труда нашего весьма занудного моралиста, князя Щербатова, с которым я чуть ли не впервые в жизни соглашусь:

«Сей Государь имел при себе главного своего любимца – Льва Александровича Нарышкина, человека довольно умного, но такого ума, который ни к какому делу стремления не имеет, труслив, жаден к честям и корысти, удобен ко всякому роскошу, шутив, и, словом, по обращениям своим и по охоте шутить более удобен быть придворным шутлом, нежели вельможею. Сей был помощник всех его страстей»⁶.

И при всем при том Лев Александрович был «помощник страстей» не только великого князя, но и его жены, Екатерины Алексеевны. Во-первых, он был очень неглуп, обо всем наслышан и являлся замечательным собеседником, а во-вторых, он ее невероятно веселил. Никто не смешил великую княгиню так, как он! Екатерина Алексеевна называла его врожденным арлекином и размышляла, что он мог бы зарабатывать своим действительно комическим талантом, не будь столь знатного рода. А развлекаться великой княгине было весьма охота, потому что ее семейная жизнь не ладилась. И вот весельчак Лев Александрович Нарышкин устроил так, что Екатерина Алексеевна не скучала на супружеском ложе. Нет, не он сам скрашивал ее женское одиночество (хотя каких только слухов на сей счет не ходило!), а его друг, камергер Сергей Салтыков, сын одной из любимейших фрейлин императрицы, недавно женившийся, но не нашедший счастья в браке. Салтыков осыпал великую княгиню пылкими признаниями, а Лев Александрович устраивал так, чтобы никто лишний не мог их слышать.

Эта романтическая связь длилась не один год, отсюда и взялись речи о том, что наследник престола рожден от Салтыкова. Ну а потом появились другие фавориты, и Нарышкин с необъяснимой преданностью (я-то думаю, что все вполне объяснимо обыкновенной ревностью!) принялся служить тому, кого прежде с легкостью обманывал: великому князю, а потом и государю-императору Петру Федоровичу. Нарышкин был арестован в Ораниенбауме после его смерти – в числе самых близких его приверженцев, – однако вскоре снискал прощение императрицы Екатерины и занял при ней самое близкое и доверенное место до конца ее дней, в том числе сопровождал императрицу в ее путешествии в Крым и оставался все таким же неистощимым весельчаком и озорником, тороватым хозяином и устройтелем самых блестящих балов, на которые собиралось столько народу, что половины и хозяин не знал.

Не сомневаюсь, что Лев Александрович был наслышан о пророчестве Сильвестра Медведева и желал государева внимания для своих дочерей Марии и Елизаветы, но, конечно, уже не при Петре Федоровиче (в его пору они были совсем малолетки!), а при великом князе и будущем императоре Павле Петровиче. Однако сей государь, занятый то Нелидовой, то Гагариной, то мадам Шевалье, то забавами с Мальтийским орденом, не обратил на девиц Нарышкиных внимания, и одна в свой черед вышла замуж за Любомирского, а вторая умерла еще до того, как Павел Петрович сделался государем.

⁶ Цитируется знаменитая книга М.М. Щербатова «О повреждении нравов в России», вышедшая в 1787 году (прим. ред.).

Но вот на престол взошел Александр Павлович – и все Нарышкины решили, что пророчество Сильвестра Медведева, исполнения которого одни (особы высоконравственные) опасались, а другие (те, кто полагает, будто цель оправдывает средства) жаждали, наконец-то сбылось, когда у него помутился разум от Марьи Антоновны Нарышкиной, жены обер-егермейстера Дмитрия Львовича Нарышкина (сына того самого упомянутого выше превеселого Льва Александровича). Марья Антоновна сделалась официальной фавориткой императора, а Дмитрий Львович исполнял роль истинного Амфитриона при своей Алкмене и при российском Зевесе⁷.

Мое отношение к этой паре – самое презрительное! Никакой доблести нет в том, чтобы составить многолетнее несчастье бедной государыни Елизаветы Алексеевны! Я – повторюсь! – легко уходила от соблазнов, которые раскидывал на моем пути император, и даже если сердце мое и не оставалось равнодушным, все равно я никогда не забывала свой долг подданной. Пусть для меня не была святой собственная семейная жизнь, а все же семейный очаг особ правительствующих был свят!

Впрочем... Пожалуй, стоит зачеркнуть сей высокоморальный пассаж. Перед собой-то можно быть откровенной, можно припомнить, что лишь случайность уберегла меня от искушения сделаться предметом страсти первой персоны России...

Признаюсь честно: иногда я жалею об этом – ведь кто знает, как потом сложились бы наши судьбы: а вдруг мне бы да удалось уберечь его от горького разочарования и от отчаяния, ставшего причиной его смерти?

Впрочем, я преувеличиваю роль женщин в жизни этого великого человека! Никто не смог бы его спасти, в том числе и я.

Нет, об этом я расскажу в свое время, а пока еще два слова о Марье Антоновне Нарышкиной.

Она стала истинным проклятьем для императрицы Елизаветы Алексеевны! Всем было известно, что дети Нарышкиных – в том числе моя прелестная кузина Софья – на самом деле дети государя. Марья Антоновна была настолько жестока, что не стыдилась обсуждать свои беременности с императрицей!

Рассказывают, что где-нибудь на балу она очень любила подойти к государыне Елизавете Алексеевне и сказать что-то вроде:

– Ваше величество, у вас превосходное платье, которое еще лучше оттеняет вашу нежную красоту! А как оно облегает вашу тоненькую фигурку! А я, бедная, принуждена теперь на некоторое время носить только широкие балахоны и ходить распустехой. Я беременна! А поскольку мы с вами знаем от кого, неудивительно, что я считаю себя самой счастливой на свете!

Эта жестокая и бесстыдная женщина была наказана смертью любимой дочери императора Софьи... Вот уж воистину, дети отвечают за грехи отцов! – но ничуть после этого не образумилась и продолжала обманывать государя с той же легкостью, как обманывала мужа. Александр же Павлович чуть ли не до последних дней жизни по-прежнему был от нее без ума, совершенно пленен ею...

Все, как сулил Сильвестр Медведев!

И все же в нашем роду никогда не забывали, что Марья Антоновна была *не настоящая Нарышкина*! Она была всего лишь урожденная Святополк-Четвертинская, дочь одного

⁷ Амфитрион – персонаж античной мифологии, муж Алкмены, родившей от Зевса Геракла. Олицетворение добродушного супруга, снисходительно взирающего на роман жены с высокопоставленным лицом.

несчастливого польского вельможи, преданного России и за эту преданность забитого до смерти лайдаками⁸ пана Костюшки⁹.

Мария и ее сестра Жаннетта были приняты императрицей Екатериной Алексеевной из милости, а Нарышкиной она стала лишь по мужу. То есть на Марье Антоновне предсказание Сильвестра Медведева не сбылось – ему, получается, еще предстояло сбыться... Именно поэтому матушка моя, Варвара Ивановна, очень опасалась за мое будущее, ибо с малых лет уродилась я редкостной красавицей, о чем могу сказать не хвастая. К тому же отношение к такому явлению, как фаворитизм, у моей матери было совершенно особенное – из-за ее отца...

Деда моего звали Иваном Николаевичем Римским-Корсаковым: он был капитаном кирасирского полка и ненадолго снискал милостивое внимание государыни Екатерины Алексеевны. Тогда это называлось – попасть в случай, быть в случае.

Кто полагал сию сладострастную стезю почетной, кто – позорной, однако не много находилось тех, кто пытался выбора императрицы избежать. Покорялись и считали за честь удовлетворять ее страсть, а уж потом, состарившись, начинали строить из себя недотрог да кособротиться. Особенно кособротились их родственники, и в связи с этим расскажу пресмешную историю, имевшую отношение ко мне самой. То есть она теперь мне смешной кажется, а тогда была чуть ли не трагедией!

Вот в чем секрет.

Когда я первый раз выходила замуж, жених мой, князь Борис Николаевич Юсупов, весьма меня домогался. Поскольку в то время я была в расцвете своей шестнадцатилетней красоты, родители, хоть и хотели выдать меня замуж поскорей (прежде всего опасаясь, как бы именно я не стала той самой Нарышкиной, на которой сбудется предсказание Сильвестра Медведева), предполагали для меня самого блестящего жениха, как богатством, так и умом и нравом. Конечно, равного юсуповскому богатству сыскать было непросто, но, что касается прочего, матушка с отцом прозорливо предполагали, что жизнь моя с князем окажется унылой и тягостной. Между прочим, не одни они так полагали, потому что князь Борис Николаевич, уже шесть лет как вдовевший (прежде он был женат на Прасковье Павловне, урожденной Щербатовой), предпринял несколько попыток посвататься в разные семьи, да всюду встречал отказ. Прозвище у него в обществе было «Сахарчик», и не только потому, что его семье принадлежали сахарные заводы, составившие богатство Юсуповых, но и из-за приторной вежливости, с которой он обращался к людям. При этом ходили слухи, что «Сахарчик» мягко стелет, да жестко приходится спать, и Щербатовы много могли бы рассказать о том, отчего так скоро умерла их дочь.

Впрочем, в свете вечно о чем-то судачили, вечно о ком-то злословили, и здравомыслие состояло в том, чтобы отделять истину от клеветы. Мои родители светские сплетни ненавидели, и все же Борису Николаевичу пришлось приложить немало усилий, чтобы добиться от них согласия на наш брак...

Добился наконец, и немалую роль сыграло тут мое девичье тщеславие. Желания мои исполнялись, едва я успевала слово вымолвить. Еще не называясь женихом, князь буквально осыпал меня бриллиантами цены несметной. Матушка моя была нрава строгого, драгоценностей у меня почти никаких не имелось, кроме простенького жемчугу, ну и, со стыдом признаюсь, блеск бриллиантов нас с матерью ослепил изрядно...

И вот, вообразите, разрешение моих родителей получено, 11 ноября 1826 года состоялось обручение, свадьба назначена – как вдруг Борис Николаевич является к нам едва не рыдая и

⁸ Лайдак – бездельник (польск.).

⁹ Тадеуш Костюшко – борец за независимость Польши от России в XVIII веке.

сообщает, что его матушка, княгиня Татьяна Васильевна Юсупова, требует вернуть слово и отменить свадьбу!

Мы с матерью, конечно, были до крайности скандализированы, а отец, который сначала первый стоял против этого брака, теперь готов был вызвать князя на дуэль и требовал объяснений. Под большим секретом Борис Николаевич проговорился, что его мать – а она с годами сделалась крайне вздорной, порой до дикости – внезапно впала в истерику из-за моего деда с материнской стороны. Как будто княгиня прежде ничего о нем не знала, о том, что он год прожил при государыне Екатерине! И внучка человека, который потворствовал низменным прихотям императрицы при ее распутном дворе – так княгиня Юсупова это называла, – недостойна чести зваться женой ее добродетельного сына.

Проговорив это, Борис Николаевич зарыдал и вообще был как больной от горя. Я тоже плакала от стыда, но что больше всего поразило меня в этой истории, так это поведение моей матери.

Редко я видела ее в такой ярости! Признаться, то, что отец ее являлся фаворитом императрицы, было в глазах этой скромнейшей женщины скорее пороком, чем достоинством, однако услышать это от другой! Да еще по такому позорному поводу, как расторжение свадьбы!

– Да что возомнила о себе княгиня Татьяна Васильевна?! – вскричала моя матушка. – Ей ли порицать императрицу Екатерину Алексеевну? Она ведь при ее дворе выросла с издетска! К ней графиня Кингстон питала нечистую страсть и, кабы не воспротивилась государыня, англичанка забрала бы ее в Англию и там растлила! Это ли не распутство? А что до прихотей императрицы... Разве не знает княгиня Татьяна Васильевна, что ее супруг, князь Николай Борисович, тоже удостаивался особых императрицыных милостей? Что у него в опочивальне в Архангельском висела картина, где отец ее добродетельного сына был изображен вместе с императрицей в виде Аполлона и Венеры в опочивальне? Что в той же усадьбе есть особая галерея, где ко всеобщему обозрению выставлено более трехсот портретов его любовниц, а образы античных богинь в саду изваяны с крепостных девок, им осчастливленных?! Она нам отказывает? Нет, мы – ей! Не бывать тому, чтобы моя дочь шла в это логовище распутников, которые из себя невинность корчат!

Моя матушка умела крепко сказануть, остра была на язык, а тут разошлась в гневе так, что у нее чуть удар не сделался: пришлось звать доктора да отворять кровь.

Бориса Николаевича из нашего дома под руки вывели чуть дышащего. Он живой ногой рванулся к Татьяне Васильевне и пригрозил, что покончит с собой, коли ему не позволят на мне жениться. Вслед за этим к нему тоже пришлось срочно вызывать лекаря. Вмешался и сам князь Николай Борисович Юсупов, который незадолго до этого был назначен маршалом на коронации государя-императора Николая Павловича и не мог допустить публичного скандала. К тому же благосклонность царствующего дома к Нарышкиным была известна. Николай Борисович приложил немало усилий, чтобы ввести в разум жену (всю жизнь он оказывал ей только внешнее уважение, а втихомолку называл бесноватой истеричкой), а главное – утихомирить моих оскорбленных родителей. В конце концов все уладилось, свадьба наша состоялась. Однако счастливым этот брак не был, так что я потом не единожды думала, что надо было нам покориться судьбе, чей образ приняла на время княгиня Татьяна Васильевна...

А впрочем, нет. Хоть избегнула бы я многого горя, но и счастья бы не узнала, потому что пошла бы иной стезей, не встретив на ней тех, кого так любила и кто любил меня. Случается то, что должно случиться, и пути Господни неисповедимы!

Но я хочу вернуться к моим предкам по материнской линии, которые слились с родом Нарышкиных.

Конечно, милостивый взор государыни Екатерины Алексеевны падал на того или иного красавца случайно, однако в Ивана Николаевича, деда моего, Римского-Корсакова, она была истинно влюблена, восхищалась его красотой и дала ему прозвище Пирр, царь Эпирский. Бла-

гоговейное воспоминание об этой связи мой дед сохранил на всю жизнь – так же, как и переписанное рукой государыни место из ее письма к ее постоянному корреспонденту барону Фридриху Мельхиору Гримму:

«Прихоть? Прихоть? Знаете ли вы, что эти слова вовсе не подходят, когда речь идет о Пирре, царе Эпирском, который приводит в смущение всех художников и в отчаяние скульпторов? Не прихоть, милостивый государь, а восхищение, восторг перед несравненным творением природы! Никогда Пирр не делал жеста или движения, которое не было бы полно благородства и грации. Он сияет как солнце и разливает свой блеск вокруг себя. В нем нет ничего изнеженного; он мужествен и именно таков, каким бы вы хотели, чтобы он был; одним словом, это Пирр, царь Эпирский. Все в нем гармонично; нет ничего, что бы выделялось; такое впечатление производят дары природы, особенные в своей красоте; искусство тут ни при чем; о манерности говорить не приходится».

Государыня восхищалась голосом своего прекрасного возлюбленного и его игрой на скрипке, уверяя, что ею заслушиваются не только люди, но и животные. Она заказала для него копию своего портрета работы Эриксона, однако... дед мой отличался неосторожностью и не умел достаточно ценить внимание императрицы! Однажды та застала Ивана Николаевича в объятиях графини Прасковьи Брюс, своей confidentки, и оба они были немедленно удалены от двора. Таким образом, «случай» Римского-Корсакова продлился всего лишь год. Забавней всего, что это был единственный грех, который допустил Иван Николаевич, однако императрица не желала его простить.

Впрочем, нет худа без добра! При всем уважении моем к Екатерине Великой скажу, что, кабы не разлука моего деда с ней, меня бы на свете не было!

Видимо, Иван Николаевич обладал той красотой, которая неодолимо и магически действует не только на молоденьких девушек, но и на умных, образованных, поживших, искушенных, пресыщенных мужским вниманием женщин, чуждых прельщениям суетного света, но ищущих свежести чувств. Он обратил внимание на графиню Екатерину Петровну Строганову, жену графа Александра Сергеевича Строганова, видного богача и мецената. Муж был на одиннадцать лет старше ее, они имели сына и были в браке счастливы... до тех пор, пока дорогу Екатерине Петровне не перешел Пирр, царь Эпирский.

Их любовь оказалась неодолима. Екатерина Петровна рассталась с мужем, сохранив с ним внешне добрые отношения ради сына, и остаток жизни провела близ Ивана Николаевича в Москве. У них родились четверо детей – одна из них была моя мать, получившая фамилию Ладомирская. Деда я помнила отлично – он скончался уже после моей свадьбы с Борисом Николаевичем, – а вот о бабушке сохранила лишь одно воспоминание. Мне было лет пять, как раз незадолго до ее смерти меня к ней привезли, я помню ее в качающемся кресле – ходить бабушка уже не могла из-за болезни ног, – и в тот момент кому-то из гостей она рассказывала о своем знакомстве с Вольтером. Дело в том, что граф и графиня Строгановы после свадьбы несколько лет провели во Франции, часто бывали при молодом версальском дворе, то есть у Людовика XVI и Марии-Антуанетты, а однажды побывали в Ферне, том пригороде Женевы, который великий философ избрал местом своего жительства. Фактически Вольтер его купил, содействовал его процветанию и имел там такое влияние, что даже изменил написание названия с *Fernex* на *Ferney*: по его мнению, во французском языке слишком много названий оканчивались на *x*. И это правда! Итак, «фернейского патриарха», как себя не то иронически, не то всерьез называл сам Вольтер, посетили граф и графиня Строгановы. Они встретились в солнечный день, когда философ возвращался с прогулки, и, взглянув на прекрасную графиню Екатерину Петровну, он восторженно воскликнул:

– Ах, сударыня, какой прекрасный день сегодня: я видел солнце и вас!

Об этом и вспоминала бабушка, когда я ее видела в последний раз. Это стало нашим семейным преданием.

Ну вот! Я наконец-то отдала должное своим предкам и могу приступить к рассказу о себе. Я уже упомянула, что обеспечила тайну своим заметкам, а потому могу наслаждаться их писанием с тем удовольствием, которое возможно постигнуть только с годами. Конечно, ведь молодые не предаются воспоминаниям. Зачем им, они живут одним днем! Старость смотрит в прошлое враз и затуманенным, и беспощадным взором. Старики просеивают свои мемуары в угоду тому доброму мнению, которое должно остаться о них у потомков. Ну а мне до этого мнения дела нет! Поэтому я намерена получить удовольствие от своего прошлого, каким бы оно ни было. И каким бы ни было прошлое тех людей, которые пересекали мой жизненный путь. Даже жаль, право, что я отдала распоряжение уничтожить записки, в них открылось бы весьма много тайн, и не только Нарышкиных... Впрочем, у меня еще есть время передумать, если очень уж разойдусь!

Итак, вышла я замуж в очень юном возрасте. Конечно, в ту пору пятнадцати-шестнадцатилетняя невеста была явлением самым обыкновенным – скорей из ряда вон выходило оставаться в девушках до двадцати пяти лет, как случилось с моей бабушкой Строгановой, в девичестве Трубецкой, и мне известны случаи, когда родители не советовали сыну свататься к двадцатилетней девице, ибо, если к ней никто еще не посватался прежде, значит, с ней что-то неладно или даже дурно. И все же торопливость моих родителей казалась странной. Сама государыня убеждала мою мать не слишком спешить с браком. Но никто не знал истинной причины этой поспешности, которая состояла не только в страхе перед тем старинным предсказанием Сильвестра Медведева, но и в том, что матушка желала уберечь меня от греха. Нрав же у меня был как раз такой, как у знаменитой Натальи Кирилловны. Весьма пылкий! Мне нравились мужчины, мне нравилось быть к ним ближе, перехватывать их восторженные взгляды... При этом я никогда не была кокеткой – я была просто наивной, невинной, простодушной, очень искренней, и если мне нравился какой-то человек, я не видела ничего дурного в том, чтобы показывать ему это.

Мне исполнилось четырнадцать (то есть я стала уже старше Джульетты!), когда к нам в дом был взят учитель танцев – молодой итальянец Серджио Тремонтти...

О, это дивная тайна моей юности! И великий секрет моей семьи. После того как Серджио исчез из нашей жизни, имя его, словно по молчаливому сговору, никогда не упоминалось, и эта наша тайна навеки канула бы в небытие, когда бы мне не взбрело в голову заглянуть в свое прошлое.

Еще бы! Меня, ту самую девицу Нарышкину, которая вполне могла стать фавориткой императора, едва не скомпрометировал какой-то *учитель танцев!*

Ох уж эти учителя танцев...

Обычно принято считать, что лучшими среди них являются французы. В Москве Иогель был необычайно популярен, его даже граф Толстой описал в «Войне и мире», а в Петербурге славилась мадам Дидло, Роза Колинетт, которую ну просто обожала тамошняя публика. Выйдя замуж за великого балетмейстера Дидло, она покинула сцену и занялась преподаванием танцев в самых знатных аристократических домах. Уроки ее стоили очень дорого: за два часа платили сто рублей ассигнациями. Поэтому даже самые достаточные родители старались собрать нескольких детей вместе, чтобы поделить плату на пятерых или десятерых человек. За один урок ведь мало чему научишься, а в жизни и так есть много за что платить. До тех пор пока я не вышла за Юсупова, родители мои жили не столь широко, как хотелось бы, поэтому постоянные уроки у мадам Дидло были для нас тяжеловаты. С другой стороны, необходимо было хоть

иногда ее нанимать, все же отец был камергером двора, а у нее обучались великие княжны, и также она была учительницей танцев в Смольном монастыре (его петербуржцы в то время уже называли институтом, а москвичи долго еще именовали по старинке монастырем), где воспитывались барышни высшего аристократического круга. Ну, когда мы приезжали в Петербург, деваться было некуда, приходилось тянуться – и меня водили к ней, а в Москве, в которой мы жили по большей части, все же предпочитали знаменитые детские балы Иогеля – ах, чудилось, *tout le monde*¹⁰ постигали на сих балах азы поведения в свете! – или танцклассы Гаэтано Мунаретти, бывшего балетмейстера Императорских театров.

Класс синьора Мунаретти находился на Рождественской улице, и туда ежедневно съезжались ученики различных сословий и возрастов. Сосеждествовали веселые юнцы, девицы-перестарки, зрелые господа и совсем дети. Перед нашим учителем мы все были равны, а он был среди нас император, тиран, деспот – и в то же время добрый наставник.

Плата за его уроки была сравнительно невелика, поэтому народу набивалось множество, до тесноты. И, конечно, когда ходили по Москве простуды, все хором чихали и кашляли. Да еще сквозняки постоянно гуляли по залу... С одной стороны стоишь у раскаленной печи, а пройдешь вбок – окажешься у растворенного окна, откуда несет стужей... Разве диво, что мы то и дело простуживались, а я чаще других, отчего занятия пропускала и вечно числилась в отстающих.

К тому же, честно признаюсь, слух у меня был плохой. Уроки музыки у меня всегда шли вкривь и вкось, я их терпеть не могла, хотя все барышни, как столичные, так и провинциальные, в те поры с увлечением занимались музыкой, погружаясь в ее романтический мир так же, как в мир книг. Читать я обожала, а музыку не чувствовала и в танцах никак не попадала в лад, отчего на уроках смотрелась чуть ли не хуже всех, что было особенно обидно, ибо мой младший брат Дмитрий уродился блестящим танцором, и это умение давалось ему без всякого труда. Много лет спустя, когда во времена Третьей империи, при Луи-Наполеоне, я попала в Париж после долгого перерыва, то диву далась, насколько изменилось отношение к танцу. Высший свет чудесил тогда совершенно невероятно: например, танцевать искусно стало моветоном, над теми, кто на паркете оказывался грациозен и ловок, посмеивались. Конечно, в польке скакать большого таланта не надо, это не менуэт, контрданс, полонез или мазурка, которые были в пору моей молодости в большой чести! Но мне они не давались, я даже умудрялась вальсировать дурно, партнера не слушалась, ногами путалась, и это стало мою матушку, Варвару Ивановну, весьма заботить. Ведь балы в то время были главным развлечением; дурно танцующая, неграциозная барышня и мечтать не могла привлечь к себе внимание интересных кавалеров, к тому же родители мои желали видеть меня фрейлиной, а двор императора Александра Павловича (в ту пору на престоле еще был этот государь) славился как танцующий двор, и сам император, мужчина авантажный, изысканный, был первейшим танцором. Я еще помню, как кто-то из гостей моих родителей рассказывал, что Венский конгресс 1814 года, на котором император Александр являлся одной из важнейших персон (когда после разгрома Наполеона Бонапарта решалась судьба Европы), называли *танцующим конгрессом* – именно из-за пристрастия русского императора к балам.

Словом, мои танцевальные умения, вернее неумения, надо было срочно поправлять, и синьор Мунаретти посоветовал матушке взять к нам в дом учителя, который бы жил у нас, танцевал со мной каждый день, занимался моим ритмическим развитием, приучал слушать музыку так же скрупулезно, как, например, моя мисс Элла Хадкинсон приучала меня к наредию Туманного Альбиона, фройляйн Гильдер Брандт – к немецкому языку, а мадемуазель Жаклин Аллёр – к французскому, причем с самых первых лет жизни. Рекомендовал синьор Мунаретти для уроков со мной своего племянника, сына недавно умершей сестры, которого

¹⁰ Все, все общество, весь свет (фр.).

он выписал из Генуи. Молодой человек уже зарекомендовал себя как отменный танцевальный учитель в некоторых известных нам домах – там взахлеб хвалили его прилежание и любезность, поэтому матушка моя, устроив ему осмотр, согласилась принять его к нам на жительство.

Конечно, окажись племянник хотя бы отдаленно похож на дядюшку – синьор Мунаретти был изрядно хорош собой, несмотря на годы, весел и очарователен, грациозен, любезен, обладал пылкими черными очами, – об этом и речи не было бы, однако Серджио Тремонти оказался щеделушен, бледен, сутул, невзрачен, так что даже мои суровые гувернантки взирали на него снисходительно и без опаски за мое реноме. К тому же никому и в голову не могло бы прийти, что барышня Нарышкина удостоит благосклонного взора какого-то итальяшку, какого-то учительишку, какого-то захудалого танцмейстера... Вообще забавно вспомнить этот чисто женский снобизм! Если высокородный господин мог позволить себе приволокнуться за хорошенькой крепостной и даже облагодетельствовать ее своими барскими милостями, то дамам и девицам моего круга полагалась обращать свои взоры исключительно на равных себе или на превосходящих нас положением. Мы в ту пору рождались и вырастали с глазами, словно бы пеленой завешанными, и эта пелена была особенно плотно задернута, когда мы смотрели на молодых дворовых или крестьян. Само их общественное положение, вернее отсутствие такового, как бы лишало их в наших глазах какой бы то ни было мужской привлекательности. Мы их просто не замечали! Не видели!

Вот так же матушка была совершенно убеждена в том, что я *не увижу* Серджио Тремонти.

Вообще даже взглянуть на него без смеха я не могла, потому что выглядел он с этими своими чрезмерно длинными руками и тощими ножками в поношенных и залатанных бальных туфлях и впрямь смешно, и голос его был пискляв, а когда я снова и снова начинала сбиваться с такта или косолапить, он от отчаяния чуть ли не в слезы ударялся, забывал те немногочисленные русские слова, которые успел выучить, даже французский забывал и стонал по-итальянски:

– Non и cosm! Non и cosm! Gotta che piace! – что значило: «Не так! Не так! Нужно вот так!»

А я его передразнивала:

– Но не козы! Но не козы! Коты цепляются! – и безжалостно хохотала.

Однако молодой синьор Тремонти оказался весьма настойчив. Он начал меня просто водить по залу под музыку. Буквально часами – у моих гувернанток, которые поочередно исполняли роль тапера и играли по нотам, данным им Серджио, болели от усталости пальцы, они клевали носом над клавишами – мы бродили с ним туда-сюда по залу, и он не уставал бубнить мне в ухо:

– Una volta, due volte e tre, brevi passo, lungo passo, voltata, espandere il vostro piede destro, piede sinistro ora...¹¹

Я стояла впереди, он поддерживал меня сзади, так что, устав, я опиралась на него всем телом, ощущая его узкую грудь, его тонкие, но сильные руки; его холодные, длинные, как веточки, пальцы сплетались с моими, его дыхание обжигало мою шею...

Его голос пресекался, он шептал в такт нашим движениям, пальцы становились раскаленными...

Я не видела его глазами – но его *увидело* мое тело.

Мы оба знали – вернее, Серджио знал, ведь он был старше, опытней, умней, а я просто чувствовала, – что наше внезапно пробудившееся телесное влечение нужно держать в тайне. Поэтому мы начинали все уроки с утомительного спектакля для наших гувернанток или других соглядатаев, и когда у них уже начинали закрываться глаза, внимание притуплялось, когда они уже просто не способны были ничего заметить, кроме утомительных хождений по залу, мы отдавались блаженству взаимных прикосновений, которые были одновременно и невинны, и распутны. Мы терлись друг о дружку, словно две зверушки, которые всего лишь играют и

¹¹ Раз, два раза и три, короче шаг, длиннее шаг, поворот, разверните вашу правую стопу, теперь левую стопу... (ит.)

забавляются, но те чувства, которые обуревали нас в эти мгновения, были острыми, как яд. В ту пору мне впервые начали сниться странные, непристойные сны. Мужчина, который сжимал меня в своих объятиях, не был Серджио, я никогда не могла разглядеть его лица во сне, это были разные мужчины, но все они шептали мне в ухо волшебные, самые волнующие на свете слова:

«Una volta, due volte e tre, brevi passo, lungo passo, voltata...»

Наконец эта самая voltata свершилась, я повернулась к моему учителю, мы обняли друг друга... правда, лишь для того, чтобы попробовать танцевать вальс.

Не то сам Серджио был отменным учителем, не то любовь преобразила меня, но я сделалась блестящей танцоршей! Я слышала теперь музыку так, словно это был родной, знакомый с детства голос, не путалась в ногах, и порханье по паркету доставляло мне ни с чем не сравнимое счастье. И руки, руки Серджио, которые окружали меня со всех сторон, и обнимали, и ласкали, и вели!..

Как кружилась моя голова! Как сияли его глаза! Почему раньше они казались мне маленькими и тусклыми? Как я могла считать его уродом?!

Преображение, которое случилось с его лицом, со мной благодаря нашей любви, было настолько разительным, что не могло остаться незамеченным... Одна из гувернанток, сонно перебиравшая клавиши, внезапно проснулась, взглянула на нас... И, кажется, смотрела довольно долго, не веря глазам своим... Она не могла увидеть ничего особенного, только двух счастливых детей, но наше влечение не было детским, оно окружало нас таким ярким сиянием тайного греха, о котором мы оба мечтали, не отдавая себе в том отчета, что даже старая дева, моя гувернантка, не могла этого не заметить. У нее хватило коварства не прервать наш волшебный сон наяву, но тем же вечером обо всем было доложено матушке.

Она не слишком поверила, не слишком обеспокоилась, но все же решила убедиться своими глазами. И явилась в танцзал на другой день и смотрела, как мы кружимся в вальсе, несемся в мазурке, кланяемся в менюэте...

Мы с Серджио оба смекнули: что-то неладное произошло. Но у меня хватило сил притворяться. Потом мне не раз приходилось пробовать себя в домашних спектаклях, все называли меня прирожденной актрисой, ну вот в тот раз и состоялся мой дебют. Однако Серджио, полный самых мрачных предчувствий, разволновался не в меру. Он едва мог двинуться, не решался заключить меня в объятия, сбивался с такта, вплоть до того, что я сама бормотала, подсказывая ему его движения:

– Una volta, due volte e tre, brevi passo, lungo passo, voltata, espandere il vostro piede destro, piede sinistro ora...

Его страшное волнение, моя непривычная заботливость о нем открыли матери все, во что она не хотела верить.

Но она сдержалась до конца урока.

– Прекрасно, – сказала моя матушка, – я вами очень довольна, синьор Тремонти. Я даже не предполагала, что вы можете достигнуть таких успехов с моей неловкой дочерью. Извольте зайти в мой кабинет – я хочу вам кое-что предложить.

Серджио последовал за ней, заплетаясь ногами. В дверях он обернулся и бросил на меня взгляд, полный такого безмерного горя, что мне стало страшно.

«Зачем она хочет говорить с ним наедине? Зачем повела его в свой кабинет? Неужели она все поняла и выгонит его?!»

С этими мыслями, чувствуя, что вся дрожу от тревожных предчувствий, я побежала коридорами на галерею, откуда был боковой спуск к материнскому кабинету. Я еще в раннем детстве знала об этом тупичке и, бывало, подслушивала там, когда повар являлся к матушке обсуждать меню праздничного обеда. Конечно, в то время меня больше всего волновало, что

дадут на сладкое, и как же кичилась я перед братом и кузенами, как задирали нос, объявив им никому, кроме меня, не известное сладкое!

Но это были забавы ушедшего детства, а сейчас меня трясло от взрослого горя.

Чтобы не шуметь, я разулась и пошла босиком, пробралась, дрожа как лист, когда под ногой скрипела разошедшаяся доска, к задней двери, где в филенчатой створке была удобная щель, и пристроилась к ней.

За стеной царил тишина, и вдруг раздался голос матери, словно она только и ждала, когда я явлюсь подслушивать. Помню, эта мысль на какое-то мгновение меня насмешила.

– Уроки с моей дочерью пошли ей на пользу, синьор Тремонти, – сказала она. – Однако они не пошли на пользу вам, сударь. Вы забылись и обманули наше доверие. Сознаете ли вы, что, если пойдут разговоры, вы больше ни в одном доме приняты не будете, на вас собак спустят?

– Синьора, – пролепетал Серджио, – клянусь вам, что ни я, ни синьорина, мы не... ничего не... между нами ничего не...

– Между вами и быть ничего не могло, – перебила моя мать. – Я повторяю: вы забылись! Обсуждать случившееся и не случившееся я не намерена. Жалею, что моего супруга сейчас нет в Москве, говорить об этом с вами пристало бы мужчине, но что поделаешь! Мне не хочется доставлять неприятности вашему дядюшке, человеку доброму и высоконравственному. Я не желаю более видеть вас не только в моем доме, но и в Москве. Вам будет должным образом заплачено, вы уедете.

– Но куда же... – пролепетал Серджио.

– В Петербург, в Нижний Новгород, в Саратов – а не все ли мне равно? – уже начиная гневаться, прикрикнула мать.

Я услышала горькие всхлипывания и поняла, что Серджио плачет. Потом раздался стук, словно что-то упало на пол, и я догадалась, что он повалился в ноги моей матери.

Я вся заледенела на сквозняке, но сейчас мне стало жарко от стыда за Серджио.

– Не гоните, ради Бога, – бормотал он. – Коли дядюшка про ваш гнев узнает и меня в Геную отошлет, мне только в петлю – ведь моя семья живет моими заработками! Позвольте остаться, скажите обо мне доброе слово, чтобы потом мне другую службу удалось найти с вашей рекомендацией, а я сам стану в Петербург проситься. Я уговорю дядюшку, я уеду, только не сразу, дайте время, а я буду молчать, я никому не скажу, что...

Я стояла, вся трясась от холода и ужаса. Я толком не слышала его слов, я думала только о нашей разлуке.

Я тогда была слишком юна и неопытна, чтобы вполне обдумать случившееся. Где мне было догадаться, в каком сложном положении оказалась моя мать! Она бы желала велеть слугам вышвырнуть Серджио вон из дома, да не могла, потому что боялась позора, боялась слухов. Моему учителю было страшно, ему казалось, что госпожа может одним мановением руки стереть его с лица земли, а мать смертельно боялась дурных слухов, которые бы он стал распространять. Свет злобен и недоброжелателен, а я находилась накануне того времени, когда меня станут вывозить, накануне той блестящей партии, которую мне предстояло сделать, да и фрейлинство мое матушке грезилось, она об этом мечтала как о высочайшем почете. И вдруг – на самом пороге этой новой блестящей жизни, в самом начале пути – ко мне прилипнет сплетня о пашнях с итальянцем, танцевальным учителем! Поди докажи, что ничего, собственно говоря, меж нами и не произошло, что это было всего лишь невинное детское увлечение, одно из тех, через которые проходят очень многие... Все эти искры страстей к кузинам и кузенам, друзьям братьев и подругам сестер, приятелям и приятельницам по детским балам, по совместным играм в соседних имениях – о, как это было все обыкновенно в нашем мире! Однако на это смотрели куда снисходительней, чем на склонность к человеку служающему, и один слух о

таким мог покрыть девушку позором, а я была не просто какая-нибудь Сидорова-Петрова-Иванова – я была Нарышкина, и отец мой имел звание камергера двора.

Мать моя в ответ на мольбы Серджио какое-то время молчала, видимо отчаянно жалея, что завела этот разговор, что не дождалась мужа, которому предстояло воротиться спустя два дня, а Серджио все ползал у ее ног, и наконец она проговорила брезгливо:

– Встаньте, сударь. Буду к вам милосердна из уважения к синьору Мунаретти. Я устрою так, что мои родственники в Твери пожелают видеть вас у себя. Мои двоюродные племянники подрастают, моя кузина хотела бы домашнего учителя музыки, танцев и итальянского языка... Я отправлю к ним сегодня же письмо с самыми лестными рекомендациями.

Серджио завозился, поднимаясь, пробормотал что-то благодарное, всхлипывал жалостно...

– Подите, подите теперь, – перебила моя мать. – Покуда не будет ответа из Твери, скажитесь больным. Уроков с Зинаидой Ивановной более не проводите. Если я узнаю о попытках ваших с ней видаться, вы будете изгнаны без всякой жалости. Это ясно вам?

– Конечно, сударыня, – со слезами ответил Серджио. – Не извольте беспокоиться, я все понял. Позвольте удалиться?

Я всем телом, всем существом своим припала к щели, чтобы еще раз взглянуть на него, и вдруг увидела напротив себя темное стекло зеркала, висящего в простенке над комодиком. В нем отражалась моя мать, стоявшая около той двери, через которую я подсматривала. И в том зеркале вдруг мелькнуло лицо Серджио – и оно было искажено такой страшной, злобной гримасой, что я не поверила своим глазам! Видимо, он не заметил зеркала, а уходя, отвернулся от матери, чтобы скрыть от нее те чувства, которые его обуревали. Однако мать в это же мгновение глянула в зеркало – и увидела его гримасу, как увидела ее я. Но я прочла в лице Серджио только злобу, обиду, ярость, а мать, как человек куда более опытный, разглядела опасную мстительность...

Я наконец почувствовала, как замерзла, и побежала в свою комнату, даже забыв обуться. Со мной иногда случались приступы жесточайшего озноба, когда в одну минуту после такого озноба начинался такой жар, что я даже себя не помнила. Это могло быть связано с приступами крайней усталости, или простудой, или потрясением. Тут как раз настала одна такая минута. Я думала только о том, чтобы согреться. Забилась в постель прямо в одежде и, видимо, лишилась чувств. Так меня и нашли, но я долго ничего не сознавала.

Спустя неделю, когда жар мой сошел и вернулся отец, я узнала, какие в нашем доме случились события. У матери пропало драгоценное ожерелье. Кинулись искать – и нашли жемчужную низку в комнате учителя танцев. Когда пропажу обнаружили, Серджио от большого ума кинулся бежать, выскочил со двора да и угодил под упряжку, которая неслась стремглав по улице. Лошадиными копытами он был убит на месте.

Я до сих пор не знаю, то ли Серджио решил в самом деле украсть жемчуг, а затем продать, то ли это был спектакль, который разыграл мой отец, вернувшийся и узнавший от матери об опасности, которой подвергалось имя их дочери. Они оба не верили, что Серджио станет молчать о той истинной причине, по которой ему придется покинуть Москву. Его лицо было слишком выразительным... Вот они и решили обезопасить мое доброе имя.

Мунаретти тоже не узнал правды. Он всю жизнь видел в моих родителях своих благодетелей, которые никому не сказали, что его племянник оказался *ladruncolo*, *ladro di strada* – воришкой, разбойником с большой дороги, как Мунаретти честил покойника. Все сошло за несчастный случай, а владельца взбесившейся лошади не нашли – верно, потому, что вовсе и не искали.

Что говорить, история сия произвела на меня ужасное впечатление!

Мои башмаки обнаружили в коридорчике, и матушка поняла, что я слышала ее разговор с Серджио. Но мы никогда об этом и речи не заводили.

Теперь, вспоминая случившееся, могу сказать, что та злобная его гримаса затмила в моей памяти всю нежность, которая меня к нему обуревала. Серджио – сам Серджио Тремонти, мой учитель танцев – перестал для меня существовать, однако благодаря ему я мгновенно повзрослела. Он, музыка, танцы, движение в мужских жарких объятиях – все это разбудило во мне женщину, охочую до плотских радостей. Конечно, пока это были только почти невинные прикосновения – но долго ли я могла в таком настроении оставаться невинной?! Желание снова и снова испытывать восхитительные ощущения в объятиях мужчины, пожалуй, рано или поздно довело бы меня до беды, потому что теперь грех так и сверкал в моих глазах, и матушка начала всерьез за меня тревожиться. Итак, девицу пора было выдать замуж!

Сначала подумывали о знаменитой и воспетой Пушкиным ярмарке невест в Московском Благородном собрании, куда слеталась блестящая гвардейская молодежь из Петербурга и где можно было в два счета найти жениха. Но тут я стала наконец фрейлиной, хотя моим родителям это покоя не принесло! Двор был полон самых неодолимых соблазнов! Графини Завадовская и Дарья Тизенгаузен, в замужестве Фикельмон, княжна Урусова и я считались по красоте звездами первой величины, на нас было обращено все внимание, все танцы на балах у нас всегда были с самого начала расписаны, о чем иные барышни только мечтали как о несбыточном, и не было мужчины, включая императора, который не делал бы нам более или менее откровенных авансов. А я им отвечала огнем таких взглядов, что у них кружились головы, они смелели, обо мне уже поговаривали как о молодой, да ранней кокетке, и императрица, образец высокой нравственности (как я позже поняла, бедняжка была просто-напросто начисто лишена чувственности!), посматривала на меня с опаской.

Кажется, еще немного, и какая-нибудь из ее статс-дам начала бы читать мне нравоучения или моему брату пришлось бы стреляться, защищая мою честь! И предсказание для одной из девиц Нарышкиных тоже могло бы в ту пору осуществиться, ибо государь, как ни был влюблен в свою супругу, частенько не сводил с меня глаз.

Теперь мать с отцом следили за мной втрое пристальней и продолжали присматривать мне супруга. Им хотелось и пристроить меня поскорей за человека, который взял бы на себя ответственность за меня, – и в то же время найти блестящую для меня партию. И вот ко мне посватался Борис Николаевич Юсупов, с которым мы познакомились во время коронационных торжеств в Москве, когда туда прибыл двор нового императора, Николая Павловича. Молодой князь Юсупов был назначен в члены коронационной комиссии. Его женой я наконец и стала – после того едва не разразившегося скандала с отложенной свадьбой, о котором я уже писала ранее.

А когда эта свадьба наша все же состоялась 19 января 1827 года в Москве, то и проходила она не как у людей! Князь Борис был в таком восторженном и взволнованном состоянии, что отправился в церковь, забыв получить благословение отца! Пришлось вернуться домой, ибо Николай Борисович на нашем венчании не присутствовал – очень хворал. Меня забывчивость жениха столь насмешила, что в церкви я постоянно хихикала и вертелась – и до того дохихикалась и довертелась, что, когда пришло время надевать кольца, я свое уронила. Оно покатилося по полу и закатилось так, что его всем миром искали, да не нашли! Пришлось немедленно послать за другим, что было расценено, конечно, как плохая примета.

Ну что ж, примета сбылась: достаточно было в нашем браке и странного, и дурного, и даже дурацкого. В него меня завлекло любопытство, а не любовь...

Много лет спустя узнала я, что один из братьев Тургеневых называл меня «прикованным зефиром». Ох, спасибо ему за это прелестное сравнение, какой женщине не польстит такое! Но ежели сперва узы брака и впрямь казались мне докучными цепями, то спустя годы я научилась их весьма лихо ослаблять.

Муж мой, князь Борис Николаевич, был старше меня на двенадцать лет. Род Юсуповых славился в России со времен баснословных, а матушка его, урожденная Татьяна Васильевна Энгельгардт, была племянницей самого светлейшего князя Григория Потемкина (в первом браке она тоже была за Потемкиным – Михаилом Семеновичем, одним из своих дальних родственников). По знатности и богатству Юсуповых крестным отцом моего будущего мужа стал великий князь Павел Петрович – за два года до своего восшествия на трон. В качестве крестильного подарка Борис Николаевич получил Мальтийский орден и потомственное командорство ордена Св. Иоанна Иерусалимского. Впрочем, это звание и награда были честью только при царствовании Павла Петровича, который являлся ярким приверженцем мальтийских рыцарей, а после его кончины все эти регалии и звания в Лету канули – к общему удовольствию, ибо Россия – страна православная, насаждение католичества, тем паче распространение иезуитства, воспринималось тут в штыки. Веру свою забывать нельзя, я хоть и вышла замуж за Луи-Шарля Шово, но осталась православной христианкой. Надеюсь и отпетой быть по родному нашему обряду!

В то время для девиц хорошее домашнее образование было делом самым обыкновенным, оттого я, хоть ни в каких модных институтах не училась, ни в Екатерининском, ни в Смольном, невежеством не страдала. Для юношей же необходимым являлось обучаться либо в лицеях, либо в пансионах, вот так и Борис Николаевич провел несколько лет во французском пансионе в Петербурге, которым заведовал аббат Карл Николя. Образование там давали очень значительное, и даже Борис Николаевич, бывший в молодые годы, по его собственному признанию, большим ленивцем, смог после пансиона выдержать экзамен в столичном Педагогическом институте, а затем, за год до нашей свадьбы, он поступил на службу в Министерство иностранных дел.

Впрочем, характер он имел неуживчивый, близких друзей и даже хороших приятелей у него не было, сослуживцы его не любили, ибо он полагал, что несметные богатства делают его умнее, знатнее и выше прочих. Он только с дамами был любезен до приторности, а с мужчинами держал себя независимо, дерзко и грубо. Кому-то нравилось это полное отсутствие заискивания, а кто-то видел в его поведении просто дурное воспитание и причуды чрезмерного богача.

Родители вскоре после его рождения начали жить врозь. В те стародавние времена, даже если супруги ненавидели друг друга, они оставались связанными брачными узами, ибо церковь не одобряла развода, но в моде были так называемые разъезды. Еще муж моей бабушки Строгановой разъехался с ней в свое время – вот так же разъехались и князя Юсуповы. У княгини Татьяны Васильевны был в их имении Архангельское свой собственный домик, для нее построенный, и назывался он «Каприз». Она весьма увлекалась работой суконных фабрик и банковскими делами имения, в свете не бывала, а на сына не обращала внимания до той поры, как он испугал ее сватовством ко мне. Конечно, дело было вовсе не в моем происхождении, а в том, что Татьяна Васильевна была чрезвычайно привязана к своей первой невестке, горевала о ее смерти и не желала видеть ее преемницы. Но все-таки муж ее убедил, что нужно позаботиться о рождении наследника. Я как невеста виделась ему очень удачным выбором. Тому были особенные обстоятельства, которые открылись мне весьма нескоро.

Овдовев после смерти княгини Прасковьи Павловны, принялся Борис Николаевич несметные богатства юсуповские пускать по ветру, играл много, транжирил напропалую, сватался без ведома родительского ко всем подряд, потом службу бросил, уехал на год в Европу, а воротясь, увидел меня на коронационных торжествах и влюбился, решив немедля завладеть первой звездой императорского двора.

Помню, когда невестой побывала я впервые в Архангельском, мое воображение поразил портрет князя Бориса в костюме татарского хана на вздыбленном коне. Это изображение пока-

залось мне чрезвычайно романтичным, а имя художника Жана-Антуана Гро, французского баталиста, еще больше интереса прибавило – и к натуре, и к портрету. Немалое минуло время, прежде чем я узнала, что мой свекор, князь Николай Борисович, как-то увидел в Париже портрет Жерома Бонапарта, брата Наполеона, кисти Гро, и немедля заказал точно такой же, в той же позе, портрет своего сына, причем непременно условием поставил изображение вздыбленного коня и татарского экзотического наряда. А сам Борис Николаевич никакой вычурности в одежде не любил, и лихим наездником не был, и даже у знаменитого фехтмейстера Огюстена Гризье считался учеником из последних...

Когда я только лишь прибыла в дом своего супруга в Спасском-Котове (сначала мы жили в Архангельском, но муж его не любил, переселился в Спасское-Котово, а в Петербурге у Юсуповых был дворец на Мойке), я случайно узнала, что накануне нашей свадьбы была заменена вся дворня. От первого лакея до последнего кухонного мальчишки! Это меня удивило, но не насторожило. Однако моя свекровь спустя некоторое время открыла мне глаза на причину этого. Нет, не сама, конечно, это было ниже ее достоинства! – а с помощью своей приживалки, компаньонки, барской барыни, близкой подруги, всегда обитавшей в прихожей ее «Каприза», – некоей Меланьи Теодоровны Косариковой-Сиверцевой, имевшей прозвище Косуха: причем в минуты душевного нерасположения ее этим прозвищем честила сама княгиня Татьяна Васильевна, однако стоило ей услышать это прозвище от другого человека, тот получал суровую выволочку, а оказись это забывшийся слуга, он бывал немедля отправлен на экзекуцию.

Поскольку свекровь моя давно уже покинула сей мир и не является мне даже во снах, я – для краткости письма – буду называть Косуху Косухой, не тратя времени на написание ее чрезмерно длинного имени.

Косуха была, само собой, старая дева, бережливая, скупая и скаредная, вечно собиравшая какие-то ошметки и остатки еды и вещей, что в тороватом, роскошном доме Юсуповых выглядело смешным и карикатурным, но при том чрезвычайная мастерица – как и большинство приживалок – готовить домашние наливочки. Готовила она их в несметном количестве, однако все они так или иначе выпивались – преимущественно самой Косухой, что вечно была навеселе и вечно носила в кармане плоскую фляжечку, к которой частенько прикладывалась, сначала заботясь, чтобы ее никто не видел, а потом и без всякой о том заботы.

Конечно, гордость никогда не позволяла мне выносить сор из избы, и о подробностях моей семейной жизни и об отношениях со свекровью никто из посторонних не знал, однако же как-то я не сдержалась и рассказала Пушкину про Косуху и ее фляжечку. Он хохотал так, что у него даже живот схватило, а поскольку произошло это при Сашеньке Россет, она меня открыто к Искре приревновала: ей-то никогда не удавалось заставить его так хохотать, ну просто до колик, она все по большей части умом своим прескучным щеголяла! Пушкин тогда же, отхохотавшись и отболевшись, воскликнул:

– Клянусь, что непременно сделаю эту восхитительную Косуху достоянием российской словесности и изображу ее в новой повести!

Но тут же он огорченно покачал головой:

– Ан нет, таланта моего для сего не достанет, поэтому сей образ я презентую Гоголю, коего почитаю самым талантливым бытописателем среди всех литераторов.

– Господь с вами, Искра! – вскричала я. – Неужто вы погубить меня решили? Умоляю вас ни слова никому не говорить, ибо все персонажи Гоголя весьма узнаваемы, и дойди это до моей свекрови, она непременно сживет меня со свету. Она ведь большая книголюб, а Гоголя любит особенно.

– Коли так, клянусь молчать, дорогая Непроменя! – приложил руку к сердцу Пушкин.

После того нашего с ним разговора он раз или два бывал в Архангельском, будучи приглашенным моим свекром, который его весьма чтит, и даже стихи остались пушкинские об этом баснословном имени, однако поэта принимали в главном дворце, а в приватном «Капризе»

княгини Татьяны Васильевны он не бывал, Косуху не видал и никакого намека на то, что ему сей персонаж известен, не делал. И все же, видимо, Гоголю он о ней обмолвился, ибо, когда я прочла гоголевские «Мертвые души», я в Коробочке увидела кое-что Косухино, однако верной ее приметы – фляжечки – там все же не было, а главное, что к тому времени и сама Косуха, и свекровь моя уже упокоились. И романа не читали.

Впрочем, я несколько сбилась. Итак, Косуха якобы *проболталась* (конечно, с ведома своей хозяйки, без дозволения которой она и вздохнуть не смела), что прислугу в имении сменили по настоянию Бориса Николаевича.

– Об этом я наслышана, – небрежно бросила я. – И что?

Косуха от значительности своей миссии свела глаза к носу и пробормотала, что ничего толком не знает, однако Прасковья Павловна была раз пять или шесть брюхата, да никогда детей не донашивала, а на пятый раз почти доносила, но начала рожать прежде времени, истекла кровью и умерла. И напоследок Косуха всхлипнула:

– Столько кровищи из нее вытекло – ужас, даже косу всю окровавило, а уж какая коса, ну чистое золото!

Мне было жутко слышать о смерти моей предшественницы, молодой красавицы, которую жалели все, кто ее знал, хитренькие глазки Косухи были мне отвратительны, больше всего хотелось отвесить ей оплеуху, но она всего лишь верно служила своей госпоже. Конечно, я подумала, что моя свекровь, которая меня недолюбливала, решила внести разлад в мои отношения с мужем. В том, что Борис Николаевич избавил дом от прежней прислуги, я даже нашла проявление некоей деликатности: значит, муж мой не желает, чтобы кто-то из слуг стал при мне вспоминать прежнюю барыню и ее печальную кончину. Я была слишком молода и неопытна, чтобы понять причину предупреждения, зловещую тайну, которая за ним крылась. И еще больше невлюбила свою свекровь.

Думаю, каждый человек, вступая в брак, делает для себя множество разочаровывающих открытий, и все дело только в том, чтобы смириться с ними и воспринимать как неизбежное зло, а не позволять портить себе жизнь. Я по натуре своей весела и миролюбива, к тому же чувственна и чувствительна; основным свойством моего супруга была также чувственность, но ошибка думать, что это сходство наших натур позволило нам достигнуть гармонии и сделало нас счастливыми!

Я испытала на себе, что это значит, когда в любое время дня и ночи, находясь в расположении телесном или, наоборот, в самом дурном или болезненном настроении, даже во время регул, можешь ты быть повергнута навзничь или – если платье и прическа не позволяли лечь – окажешься стоящей на полусогнутых ногах, с задранной на голову юбкой, чтобы принять пылкость своего супруга, не имеющую ничего общего ни с нежностью, ни с заботой о жене, а происходящую лишь для его собственного удовольствия. Прилипчиво-ласковый в обиходе, расточающий нежные до приторности наименования и беспрестанные поцелуйчики то ручки, то плечика – «Сахарчик Боренька», – в интимные мгновения супруг мой становился груб до жестокости, и несколько раз приходилось мне быть даже битой им – в порыве «страсти нежной»...

Я никогда не отказывала ему – как можно отказать, меня воспитали в духе полной покорности супругу! – однако он видел, что ни малого удовольствия от его ласк я не ощущаю и только служу ему покорно, как полагается жене. Шло время, и мы с мужем не находили счастья в браке, а преисполнялись друг к другу тайным презрением. Я его презирала за те телодвижения, которые он совершал на мне, за его пыхтенье и искаженное лицо... искаженное тем наслаждением, которое он от меня получал, но мне не давал. Я не знала, что должна что-то испытывать, но смутно ждала утolenия тому волнению, которое иногда возникало в моем теле. А муж тяготился властью, которую я над ним получила. Как я теперь понимаю, он презирал меня за то, что я этой властью не умела пользоваться.

Я только и мечтала понести и на целых девять месяцев освободиться от ласк супруга. Не столь давно императрица сделалась в тягости, а государь-император не скрывал нежной печали оттого, что был с супругой плотски разлучен. Среди фрейлин об этом звучало много тихоньких хихиканий и шепотков, которые и учили меня разным житейским премудростям.

И вот произошел некий случай, который позволил мне открыть горькую тайну Щербатовых, трагическую тайну смерти моей предшественницы по супружеству и позорную тайну моего мужа.

Как-то раз на крестинах у дальней родственницы Юсуповых, где мы были с князем Борисом Николаевичем, мы столкнулись с пожилой дамой в глубоком трауре, очень красивой, несмотря на года. Единственным украшением ее печального наряда было странное кольцо бледно-золотистого цвета, словно бы сплетенное из тончайших нитей. Я так хотела посмотреть кольцо поближе, что уставилась на него во все глаза и не сразу заметила мгновенную заминку, возникшую между моим мужем и этой дамой. Борис затоптался на месте, не то расшаркиваясь, не то пытаясь избежать встречи, я ощутила, как напряглась его рука, – но в следующее мгновение он пробормотал что-то вроде:

– Счастлив видеть вас вновь, маман, в добром здравии! – и повлек меня дальше.

Тут на пути оказались какие-то знакомые, с которыми мы раскланялись, потом мы разошлись к разным группам, шла какая-то незначительная беседа, а я все думала о женщине, которую мой супруг назвал «маман» и при встрече с которой так смешался. Само собой, она не была княгиней Татьяной Васильевной, и не требовалось большого ума угадать, что этим словом мой муж мог именовать только мою матушку... Либо мать своей покойной супруги, урожденной Щербатовой! Неужели это была старшая княгиня Щербатова?

Наша семья со Щербатовыми не водилась из-за какой-то старинной распри, мы не бывали на одних и тех же балах, посещали разные дома, оттого и вышло, что княгиню я признала не тотчас.

В это мгновение я почувствовала, как будто кто-то трогает мою голову. Обернулась – никого – да и кто мог коснуться моей головы, что за ерунда?! Но когда это повторилось, я перехватила взгляд, на меня устремленный: взгляд той дамы в трауре, с золотистым колье на шее. Станный был это взгляд: в нем мешались неприязнь, почти ненависть – и сочувствие, почти жалость. При этом дама безотчетно касалась своего колье... Немедля новая догадка меня посетила: я угадала природу странного материала, из которого оно было изготовлено. Нет, не нити, а волосы! Слова Косухи о золотой окровавленной косе умирающей Прасковьи Павловны тут же всплыли у меня в памяти. Странная мода носить на себе колье, браслеты или перстни, искусно сплетенные из волос дорогих покойников, всегда меня пугала, а сейчас, когда я представила себе эту окровавленную косу моей умирающей предшественницы, мне стало и вовсе дурно. Я невольно схватилась за руку молодого человека, стоящего рядом.

Потом, когда я давала себе труд задуматься о прихотливости забав судьбы, я не могла не удивляться, что в тот тяжкий миг вместо мужа рядом со мной оказался Николай Жерве, с которым нас впоследствии связали самые нежные отношения. Тогда он еще не был поручиком лейб-гвардии Кавалергардского полка, а лишь поступил в Петербургский университет (который вскоре оставил для военной службы).

Он в первую минуту страшно смутился и даже испугался, когда я схватилась за него, да еще и побледнела и покачнулась с явным намерением лишиться чувств, однако все же не убоился могущего случиться недоразумения и поддержал меня. На мое счастье, тут же оказалась приятельница моей матери Долгорукая, которая прикрыла нас с Жерве от посторонних взглядов, приобняла меня и увлекла в дамскую гардеробную, где усадила на диванчик, подав флакончик с солями и причитая:

– Что это вам, Зизи, вздумалось вешаться на шею молодому Жерве?! – Княгиня была известна своим неприятием любых экивоков и любовью к сильным выражениям. – А случись здесь, Господи помилуй, ваш супруг?! Не миновать дуэли!

В нынешние времена, когда понятие о благородстве совершенно уничтожено, многие даже и не знают, что это вообще такое – *point d'honneur*, чувство чести. В былые годы единственным средством ее защиты среди тех, кто принадлежал к дворянскому сословию, служила дуэль. Она являлась как привилегией только благородного человека (невозможно и помыслить какого-нибудь Чичикова со шпагой или дуэльным пистолетом!), так и тем, о чем говорят: *poblesse oblige*, положение, вернее благородство, обязывает. Чтобы в мужской чести, в мужском благородстве не усомнились, мужчина был готов защищать и честь, и благородство – причем не только от истинных оскорблений, но даже от намека на оскорбления. Мужчина в те времена пребывал в постоянном осознании того, что любое его слово, неосторожное, сказанное по нечаянности, или умышленное, любой двусмысленный поступок, который другой человек сочтет обидным, могут привести к дуэли. Сегодня он наступит случайно на балу кому-нибудь на ногу, а завтра получит за это пулю в лоб на поединке. С другой стороны, мужчине предписывалось быть таким же щепетильным по отношению к словам и поступкам других людей. Особенно если речь шла о женщине, в отношении которой малейшая двусмысленность могла показаться оскорбительной, могущей навсегда испортить репутацию дамы. Впрочем, повторюсь: дуэль являлась своего рода сословной привилегией, и, например, мой брат Дмитрий, даже будь он старше, а не младше меня, не мог бы вызвать Серджио Трмонти, даже если бы тот развязал язык. Моему брату оставалось бы только отхлестать его плетью! Однако Жерве и мой муж были оба людьми благородными, поэтому дуэль между ними вполне могла бы состояться, так что испуг княгини Долгорукой был объясним.

Впрочем, князя Бориса Николаевича поблизости не случилось, маленького бального конфуза он не приметил... К слову сказать, когда, спустя несколько лет, наши с Жерве отношения зашли весьма далеко и он меня совершенно компрометировал, мой муж притворился слепым и глухим и даже при дворе почти не бывал, чтобы какой-нибудь случайный доброжелатель не прочистил ему уши и не открыл глаза! Борис Николаевич, как я уже упоминала, был дурным учеником знаменитого фехтмейстера мсье Гризье отнюдь не только из-за неуклюжести...

Но вернемся в гардеробную, где я простерта на диванчике, а княгиня Долгорукая вокруг меня мечется и недоумевает, что вдруг со мной приключилось. И вдруг незнакомый голос произносит:

– Новая княгиня Юсупова в тягости?

Слова «новая княгиня» прозвучали с совершенно непередаваемым выражением, и мы, обе вздрогнув, оглянулись... чтобы увидеть княгиню Щербатову в этом ее ужасном колье.

Я испуганно вскрикнула, а потом меня скрутил такой приступ тошноты, что все содержимое моего желудка немедленно изверглось в уривник, который, проявив недюжинное проворство, едва успела мне подставить княгиня Щербатова.

– Господи! – ахнула Долгорукая. – А ведь и вправду! Она в тягости! Да вы, княгиня Анастасия Валентиновна, приметливы, словно... словно сивилла!

Похоже, она была не вполне в ладах с античными персонажами.

– Уж не ведаю, – невесело усмехнулась Щербатова, – славились ли сивиллы приметливостью, но, сколько помню, они будущее предсказывали. Вот тут я верно сивилла, ибо мне не составит труда напророчить, что Зинаиде Ивановне не избежать выкидыша, а то и смерти, если она будет покорна мужу во всех его желаниях! Небось нарочно Юсуповы невесту искали из таких, которые с нами не знают, истории нашей не слышали, не то и тут отказ получили бы!

И с этими словами она вышла вон.

Мы с княгиней Долгорукой уставились друг на друга, а потом она вдруг покраснела так, что не только лицо, но даже шея и грудь ее, едва прикрытые фишю¹², стали багровыми.

Я какое-то время ничего не понимала, но княгиня вдруг пробормотала:

– Ах, бедняжка Прасковья Павловна! Ах, бедняжка Анастасия Валентиновна! Какая жалость, что здесь нет вашей матушки, Зизи, она бы вам все объяснила!

– Да что объяснила бы?! – вскричала я. – О чем говорила княгиня Щербатова?! Почему у меня будет выкидыш?!

Надобно пояснить читателю, что в те времена, о которых я теперь говорю, стыдливость девическая охранялась до того сурово, столь много тем считалось неприличными для обсуждения, что большинство девушек выходили замуж, не имея вообще никакого представления о том, что с ними будет делать супруг в первую брачную и последующие ночи и к каким последствиям это может привести. Даже иные матери не могли преодолеть в себе пожизненной застенчивости! А уж обсуждать супружескую жизнь глаза в глаза было вовсе невыносимо, поэтому княгиня Долгорукая, даже при всей ее манере ляпать что ни попадя, и чувствовала себя столь мучительно. Но деваться ей было некуда: я вцепилась в ее руку и не давала тронуться с места, к тому же она, приятельница моей матери, чувствовала за меня ответственность... И вот, кое-как, сбиваясь, путаясь и беспрестанно призывая Господа в помощь, она смогла пояснить, что для здоровья беременной женщины не всегда полезны слишком частые сокоупления с супругом, а порой даже и вредны. Анастасия Валентиновна Щербатова была убеждена, что Борис Николаевич просто уморил ее дочь своей неумеренной пылкостью!

Не вдруг, но я все же многое поняла. Поняла, что слух о причине смерти Прасковьи Щербатовой ползал и по Москве, и по Петербургу, поэтому Борис Николаевич и встречал отказы в своих сватовствах, несмотря на то что был женихом весьма завидным. Оттого он так хотел на мне жениться, что семья наша была в разладе со Щербатовыми и ни о чем не ведала. Поняла я и Косухины намеки, сделанные по приказу моей свекрови. Поняла также, что Татьяна Васильевна хотела свадьбу отменить не по причине внезапно возникшей неприязни к моей родословной, а помня участь своей прежней невестки!

Но мы с родителями были слепы...

Отчего мы не попытались даже разузнать причину смерти Прасковьи Щербатовой?! Отчего я открыла эту тайну так поздно?!

Трудно сказать. Так или иначе, я была навеки связана с князем Борисом Николаевичем, и жизнь моя зависела теперь только от твердости моего характера. Моя жизнь – и жизнь моего ребенка.

Что мне было делать?! Умирать мне не хотелось. А потому, едва найдя в себе силы выбраться из гардеробной, я отправилась домой, даже не сказавшись мужу, и, воротясь, изумленный князь Борис нашел двери моей опочивальни запертыми. Призванная мною повивальная бабка подтвердила догадку Анастасии Валентиновны Щербатовой о моей беременности, а я, с решительностью, которую сама в себе не предполагала, заявила, что до рождения ребенка буду спать одна и мужа к себе в постель не пущу, а также прошу оставить меня в покое днем.

Да... Вспоминаю то время – и горжусь собой, и диву себе даюсь! Возможно, я и в самом деле спасла тогда свою жизнь и жизнь своего сына, потому что муж мой словно обезумел и принялся умолять впустить его в мою опочивальню и отдаться ему хоть раз, последний раз...

Да, в последний раз! Один такой же раз стал последним для Прасковьи Щербатовой!

Я отказалась наотрез.

– Да что же вы со мной делаете? – вскричал князь Борис. – Неужто отправляться мне к шлюхам или брехать крепостных?! Вспомните ваш долг супруги!

¹² Легкая косынка, слегка закрывавшая декольте – для приличия или защищая даму от холода.

Наверное, всякая жена должна была при таких словах исполниться ревности или жалости и открыть ворота крепости, но это золотистое кольцо, которое носила княгиня Анастасия Валентиновна Щербатова, стало моим кошмаром – и в то же время помогало мне держаться. Дверей я не открыла.

В ту же ночь я отправила двух слуг верхами: одного к моей матери, другого – к Татьяне Васильевне, и наутро обе матроны явились для моей защиты.

Впрочем, к утру и Борис Николаевич образумился и выслушал их вполне спокойно и достойно. Он дал слово не прикасаться ко мне до родов и после них – пока не будет на то получено дозволения докторов. Мы уговорились, что жить станем до родов отдельно, но мне нужно еще было получить дозволение государыни оставить фрейлинскую службу и снова поселиться у родителей в Москве.

Никогда не забуду этот разговор с ее величеством...

Мы были на аудиенции вместе с матушкой, и, собственно, она сама все поведала императрице, которая слушала молча, не глядя на меня, лишь изредка приподнимая брови, словно речи моей матери ее изумляли.

Меня била дрожь ужасного стыда, я чувствовала себя какой-то преступницей, мне казалось теперь, что я во власти придуманных, несуществующих страхов, что никакой ужасной тайны в смерти Прасковьи Щербатовой не было, она умерла по какой-то другой, естественной причине...

Но вдруг ее величество вскинула на меня глаза – и мы с матерью ахнули: они были полны слез.

– Ах, Боже! Как я вас понимаю! – простонала императрица.

– Государыня, простите! – вскричали мы с моей матерью, падая к ее ногам, угадав, что нам на миг приоткрылась такая тайна венценосной семьи, которую любой здравомыслящий человек предпочел бы не знать.

Ах, все женщины испытывают одно и то же, и даже самый любящий муж – всего лишь мужчина, для коего похоть его превыше всего...

– Моя жизнь принадлежит вам, – бормотала я, целуя ее руки и обливая их слезами. – Я вечно буду вас благословлять и служить вам!

– Встаньте, моя милая девочка, – сказала императрица. – Я принимаю вашу преданность и умоляю не забывать о ней, когда вы вновь воротитесь ко двору.

С этими словами она ушла, оставив нас коленопреклоненными, умиленными, растроганными – и недоумевающими. Как можно было усомниться в нашей преданности?!

Я и не подозревала, что императрица уже тогда заметила *особенные* взгляды, которые бросал на меня государь, и понимала, что, даже если сейчас я, промыслом Божиим, избавлена от его внимания, он был не из тех, кто забывает женщин, вызвавших у него влечение, а потому – рано или поздно! – мне придется или сдаться на его милость, или противостоять ему – во имя преданности императрице.

Александра Федоровна обожала своего мужа, но хорошо его знала, все его мужские секреты были для нее как на ладони. Ее любовь была любовью неизмеримой: она принимала государя со всеми его достоинствами и пороками, и неведомо даже, что в нем она любила больше. Сам же он знал об этом, боготворил свою жену, но переделать себя не мог, даже если бы пожелал.

А он и не желал.

Как я потом узнала, моим отъездом от двора император был не слишком-то доволен, однако не воспротивился решению государыни, возможно философски рассудив, что все, что должно случиться, случится в свое время, ну а коли нет, то, знать, не судьба.

Словом, понятия не имея о тайне Нарышкиных, он все же безотчетно ждал исполнения старинного предсказания!

...Будь я подлинным мемуаристом, который не сомневается, что будущие читатели воспримут его записки как свидетельство эпохи, я непременно присовокупила бы здесь некое кокетливое высказывание: мол, в книге моей бессмысленно искать точных цитат и описаний. Я рассказываю вовсе даже не об эпохе, а о том, что меня всегда более всего волновало в жизни: об отношениях мужчин и женщин, вернее, об отношении некоторых мужчин к одной женщине – ко мне. Я помню, как хохотала, прочитав в свое время у Сент-Бёва отзыв о записках одного из моих любимейших – не считая Бальзака и Дюма-отца! – французских писателей аббата Мишле: «Он слишком большое внимание уделяет сексуальным отношениям, это насмешливый фавн, заглядывающий через плечо Клио в попытки увидеть ее грудь»¹³.

То же самое можно сказать о моих воспоминаниях, но, поскольку ничья женская грудь, кроме моей собственной, меня никогда не интересовала, вполне можно сказать, что я заглядываю через плечо Геродота, Плутарха или обоих Плиниев в попытке увидеть их... чресла!

Вернусь, впрочем, к описываемым событиям. Я спокойно перенесла беременность и в положенный срок родила сына – к невероятному восторгу всех Юсуповых, заполучивших наконец долгожданного наследника всех своих богатств и знатного имени. Николай остался моим единственным сыном. О втором ребенке я не желаю писать здесь, так же как не могу больше писать о моей матери¹⁴, хотя они навеки останутся в моей памяти.

...В одной из ниш Нотр-Дама находится каменная статуя святого Марселя, поражающего дракона. Предание гласит, что это чудовище выползло по ночам на кладбище из разверстой могилы и пожирало людей. Испуганные парижане явились к своему пастырю и молили о помощи. Святой Марсель поразил монстра своим посохом.

Я могу сравнить с этим чудовищем нашу память, наши воспоминания, которые выползают оттуда, где они должны быть погребены. Смерть, только смерть – вот тот «святой Марсель», который навеки загонит их обратно в бездны преисподние...

Однако продолжу. Как-то раз моя свекровь обмолвилась о некоей семейной легенде рода Юсуповых, о каком-то проклятии, насланном на неверных выкрестов (происхождение этого рода татарское) казанской царицей Сююмбике. Я пропустила все это мимо ушей, поскольку отродясь была совершенно не суеверна, даже домовых и леших не умела пугаться. Однако моему сыну, молодому князю Николаю Борисовичу (полному тезке своего деда!), легенда впоследствии пришлась очень по душе. Он даже книгу написал «О роде князей Юсуповых», в которой рассказал об этом проклятии и опозитизировал его. Мне всегда были чужды и образ жизни, и душа моего сына, который начисто рассорился со мной после моего отъезда за границу и чрезвычайно осуждал мой второй брак. Молодому князю Николаю Борисовичу жить бы в Индии, где вдова должна восходить на погребальный костер супруга! Он с наслаждением, кое доступно лишь *подлинным историкам*, смаковал в своей книге подробности несчастий, которые обрушивались на семьи его предков, в результате чего в каждом поколении выживал один лишь сын. Дай он себе труд взглянуть непредвзято на историю других родов, он и там обнаружил бы страшные тайны, достойные пера романиста, особенно обладающего должным полетом фантазии. Ну что ж, Николай по крови Юсупов, а кровь эта проникнута суевериями. А я навсегда осталась достаточно чужой этому роду, всегда предпочитала, чтобы прежде всего упо-

¹³ Шарль Огюстен де Сент-Бёв – французский литературовед, литературный критик и мемуарист. Жюль Мишле – историк и публицист, представитель романтической историографии, автор знаменитой книги «История французской революции», которую исследователи считали весьма субъективной. Записки Зинаиды Ивановны относятся именно к жанру романтической историографии, оттого труды Мишле ей так близки. Клио – античная муза истории.

¹⁴ Дочь Зинаиды Ивановны родилась мертворожденной; мать трагически погибла при пожаре в их доме в Москве (прим. ред.).

миналась моя девичья фамилия – Нарышкина, а уж потом фамилия мужа. И с меня довольно *тайны Нарышкиных*, чтобы обременять себя еще и *тайною Юсуповых*. Оттого затруднять себя пересказом глупых семейных легенд, с которыми позднейшие потомки носятся, как курица с яйцом, я не намерена.

Между прочим, я заметила странную закономерность: женщины, которые выходили замуж за Юсуповых, то есть попадали в семью, так сказать, со стороны, вообще относились к этой легенде скептически, чего не скажешь об их дочерях и сыновьях, истинных представителях рода. Скажем, и моя свекровь, и я сама, и моя нелюбимая сноха Рибопьер¹⁵ только плечами на сей счет пожимали. Однако мне приходилось слышать сплетни, будто я мужа от супружеского ложа отлучила, поскольку не хотела «плодить мертвецов». Какая оскорбительная чушь! Виной была наша взаимная неприязнь, можно сказать отвращение, которое между нами с князем Борисом со временем возникло, и ничто иное, – ну а семейная легенда послужила только удобным предлогом. Однако и сам Борис Николаевич, и его отец, старый князь, и наш сын с этим глупым суеверием нянчились, как с фамильной драгоценностью. Такова же и моя внучка Зинаида, которая вышла за этого недалекого красавчика Сумарокова-Эльстона. Бестолковы и суеверны оба до крайности, в них пошел и их старший сын Николай; очень хотелось бы надеяться, что мой младший внук Феликс – чудесное дитя, восхитительное! – окажется человеком здравомыслящим¹⁶

¹⁵ Князь Николай Борисович Юсупов-младший был женат на Татьяне Александровне Рибопьер.

¹⁶ Об этом проклятии и об отношении к нему потомков Зинаиды Ивановны Нарышкиной можно подробнее прочитать в книге Елены Арсеньевой «Юсуповы, или Роковая дама империи», издательство «Эксмо».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.